ЕВГЕНИЯ ДИМЕР



ЕВГЕНИЯ ДИМЕР

ПОД ЗНАКОМ КОЗЕРОГА

Рассказы и воспоминания

Издательство Клуба русских писателей
Нью-Йорк
The Russian Writers' Club
Publishing House
New York
1998

Printed in the United States of America

ТОГО ЖЕ АВТОРА:

1. "ДАЛЬНИЕ ПРИСТАНИ". Стихи, 1967.
   "DISTANT HARBORS". Poems, 1967.
2. "С ДЕВЯТОГО ВАЛА". Стихи, 1977.
   "THE VIEW FROM THE NINTH WAVE". Poems, 1977.
3. "МОЛЧАЛИВАЯ ЛЮБОВЬ". Рассказы и стихи, 1979.
   "SILENT LOVE". Short stories and poems, 1979.
4. "ОГЛЯДЫВАЯСЬ НАЗАД". Воспоминания, 1987.
   "LOOKING BACK". Stories out of the past, 1987.
5. "ДВЕ СУДЬБЫ". Стихи, 1993.
   "TWO FATES". Poems, 1993.

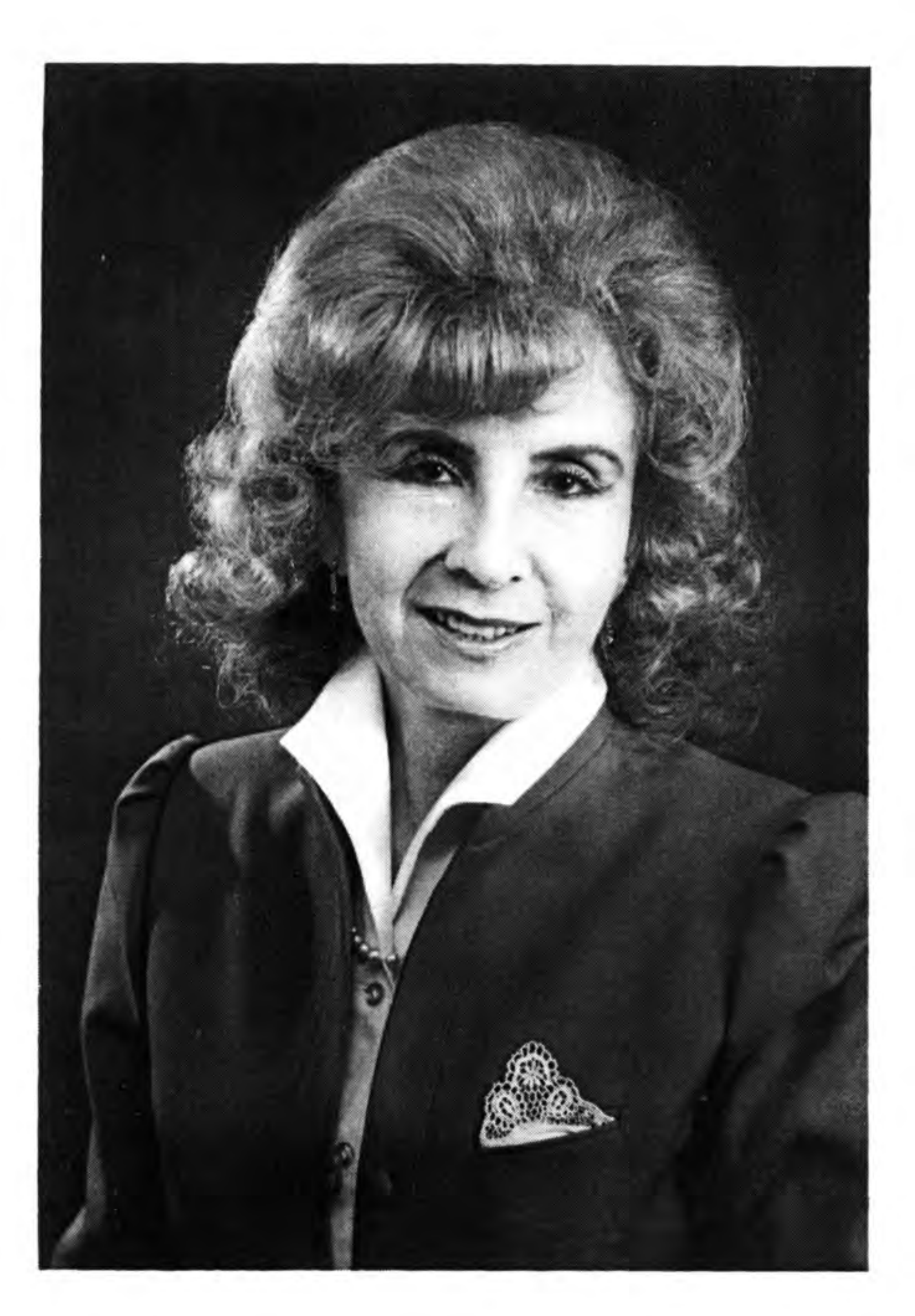
"UNDER THE SIGN OF CAPRICORN"

Library of Congress Catalog Card Number: 97-076097

ISBN: 0-929924-59-2

The Russian Writers' Club
Publishing House
P.O.Box 579, East Hanover, NJ 07936

Printed in the United States of America



Посвящается памяти Нормана Динера.



ОТ АВТОРА

Говорят, что жизнь человека - это ненаписанная книга. Изложить на бумаге всю жизнь просто невозможно, поскольку она пронизана разнообразными нюансами человеческих отношений и содержит неисчислимое количество происшествий, встреч и расставаний. А их выпало на мою долю очень много. Естественно, что все они не могли вместиться в опубликованных мной в 1987 году мемуарах "Оглядываясь назад". Поэтому я решила написать вторую книгу.

На жизненном пути каждого из нас встречались и выдающиеся, и заурядные события, светлые и печальные переживания. Моя же судьба оказалась особенно нелегкой и неспокойной.

На мою счастливую юность, защищенную заботой и любовью родителей, неудержимо и безжалостно обрушился шквал войны. Он сорвал меня с родной земли, подхватил с собой и унес далеко от тех, кого я любила, в незнакомые, чужие страны. Он не раз бросал меня под разрывы бомб и артиллерийских снарядов и сделал свидетельницей многих трагических событий.

Мне одинаково хорошо знакомы Советский Союз и фашистская Италия, гитлеровская Германия и демократическая Америка. Позже я видела Германию побежденной, нищей и голодной.

После капитуляции Третьего Рейха мне пришлось шесть лет провести в лагерях "Ди-Пи" (для перемещенных лиц), где в соответствии с Ялтинским соглашением между союзниками проводились насильственные, кровавые репатриации советских граждан. И одновременно с этим мне, несмотря на предубеждения, с которыми относились к иностранцам некоторые немцы, посчастливилось получить в Германии высшее образование, окончив университет со степенью магистра экономических наук.

Некоторые события и отдельные эпизоды моей жизни вырисовываются из прошлого с необычайной четкостью, как будто они произошли только вчера. Другие же потребовалось с усилием находить в пластах памяти, просеивать и очищать от всего лишнего, что могло бы исказить достоверность моего повествования. Возможные неточности - это, прежде всего, имена. Иногда мне приходилось пользоваться вымышленными, так как в одних случаях настоящие были забыты, а в других - мне не удалось разыскать нужных людей, чтобы получить у них разрешение на публикацию в моих воспоминаниях.

Для сохранения цельности и последовательности изложения я должна была вкратце повторить некоторые эпизоды из моих прежних мемуаров. Но их немного.

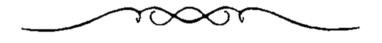
Кроме воспоминаний, в книгу включено пятнадцать рассказов на разные темы.

Собранные материалы настолько разнообразны, что мне с трудом удалось найти название для всей книги. Я назвала ее "Под знаком Козерога", так как родилась под этим созвездием, и, как утверждают астрологи, оно оказывало и продолжает оказывать большое влияние на мою судьбу.

Несмотря на перенесенные потери и неудачи, моя судьба всегда оставалась добра ко мне. Она уберегла меня от Гулага, гибели под бомбами и пулями, от немецких лагерей смерти. И до сих пор, как в молодости, я встречаю каждый день с радостью и считаю, что жизнь - самый ценный дар, данный нам Богом.

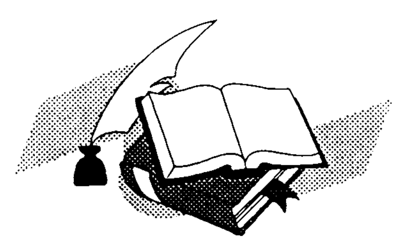
Итак, дорогой читатель, я раскрываю перед Вами события счастливых и горестных дней прошедших лет, мою трагедию и любовь, мои падения и взлеты.

Евгения Димер.



I

Алые маки



Воспоминания



УЧАСТКОВЫЙ ВРАЧ
(СО СЛОВ МОЕЙ МАТЕРИ)

Прекрасны и необъятны украинские просторы. Там вдали, где в лиловой мгле степь встречается с небосклоном, она словно немного приподнимается. И кажется, что находишься посредине неглубокой гигантской тарелки и, куда бы не переместился, все равно остаешься в ее центре под ярко-голубым куполом неба. Степь летом колосится рожью и пшеницей. Зерно еще не созрело, только наливается. Колосья при каждом дуновении ветра как бы кланяются в пояс. Когда же налетает более сильный порыв, они, как хорошие танцоры, легко движутся стройными рядами - то скромно отступают, то с ожесточением бросаются вперед. Их колеблющаяся масса напоминает собой морские волны. Ветер здесь свеж, молод, кудряв, а воздух можно пить пригоршнями. Везде по равнине, точно оазисы, разбросаны редкие небольшие городки, крохотные станции и отдельные домишки с игрушечными садиками. Большинство из них соединено узенькой лесенкой железной дороги или же редкими телеграфными столбами. Вся жизнь, все общение с цивилизацией идет через эти магистрали, являющиеся кровеносными сосудами степи.

Навсегда запечатлелись зеленые сочные поля с заплатками лесов в памяти доктора Прасковьи Павловны Гариной, переехавшей из Киева в провинцию, куда она получила назначение на должность железнодорожного участкового врача. Это была статная, энергичная женщина с русыми, коротко подстриженными волосами и с румянцем на немного выдающихся скулах. Начальник станции, телеграфисты, будочники, кочегары, стрелочники и другие рабочие с их семьями - все обращались к ней за медицинской помощью, а иногда открывали душу

и сердце, поверяя ей свои тайны. На приеме дети слушались ее беспрекословно, когда она делала им прививки или осматривала горло, придавив язык инструментом. "А-а-а!" - тянули малыши. В этом небольшом городке и его окрестностях все уважали ее и называли ласково "нашей докторшей".

Прасковья Павловна любила свое занятие, требующее предельного напряжения. Работы было невпроворот. Особенно трудно давались ей ночные вызовы. Некоторые пациенты жили далеко за городом. Ей приходилось добираться пассажирскими и товарными поездами (последние останавливались специально для доктора на пустынных разъездах). При экстренных случаях ей предоставлялась шведка с рабочими. Иногда врач преодолевала пешком немалые расстояния. Ей знакомы были и паровозы с жарким жерлом топки, и крестьянские скрипучие подводы.

АНЮТА

Гарины получили квартиру в казенном кирпичном здании амбулатории, относящемся к комплексу станционных построек и похожем на вокзал: такие же закругленные кверху окна и такие же высокие потолки. Главная входная дверь открывалась в большую переднюю со ступеньками: направо была квартира врача, налево - амбулатория с аптечным отделением. Между железнодорожной линией, отливающей мазутной синью, и домом находился палисадник с запущенными клумбами, акациями и осинами. С другой стороны расположился дворик с деревянным сараем и цементным погребом. Этот дом был самым крайним, за ним расстилались бесконечные поля, где ветер гонял перекати-поле и зарницы пили росу.

Обязанности Гариной - быть врачом и в то же время матерью малолетнего ребенка - не всегда сочетались. Несмотря на все предосторожности, как например, тщательная дезинфекция рук, купание и переодевание после приема заразных больных, ее дочь Женя уже успела за короткое время переболеть двумя детскими болезнями: корью и скарлатиной.

Прасковья Павловна для помощи в доме и ухода за ребенком наняла крестьянскую девушку Анюту, сироту, жившую

у своей тетки. Хотя ей уже исполнилось шестнадцать лет, она выглядела хилым, изнуренным работой подростком с натруженными руками колхозницы. Женя сразу полюбила новую няню, и это было большим облегчением для работающей матери. Все же многое в доме приходилось делать самой хозяйке. Да и что можно было спрашивать с шестнадцатилетней девчонки? Муж даже иногда хмурился, что она так угождала Анюте.

- Александр, ты заметил, как Анюта у нас похорошела? - как-то спросила его Гарина, когда они вдвоем в выходной день утром пили чай. - Куда девалась наша прежняя Анюта! К нам она пришла завшивленной, несчастной, бледной.

- Да, ть права, - Анюта у нас за год разъелась, - недовольно заявил муж. - Хотел тебя уже давно предупредить: бери расписку, когда ей платишь. Вот у моего коллеги по заводу нянька в суд на него подала, деньги требует. Теперь так повелось - прислуги хозяев судят. А вообще мне не совсем понятно, я таких взаимоотношений, как у нас, между хозяйкой и прислугой еще никогда не видел: ты обеды готовишь и ей даже в сад на свежий воздух носишь, как в лучшем доме отдыха. - Он встал из-за стола и заходил по комнате, шаркая недовольно ступнями. Это был интересный, высокий мужчина лет тридцати пяти с копной черных, как смоль, волос, спадающих волной на лоб.

- Не горячись, Александр, - Гарина, подойдя к мужу, несколько смущенно положила руку ему на плечо. Ее голубые умные глаза смотрели на него умиротворяюще. - Не забывай, дорогой, что Анюта - первая домашняя работница, которую полюбила и к которой привязалась наша Женечка. Притом Анюта очень часто не берет выходных дней, что дает мне возможность немного отдохнуть.

- Ей так или иначе в выходные дни некуда деваться - к родственникам в село далеко, а знакомств на новом месте она еще не сумела завязать. Ведь даром она ничего тебе не делает. Ты за выходные платишь ей чудесно. Что и говорить, ты у своей прислуги в прислугах, - закончил он.

- Не прислуга, а домашняя работница, - поправила жена.

- Пусть и домашняя работница, но суть дела остается та же, - уже смягчился муж. - Да, я тебя хорошо знаю. Ты с каждым

дворником запанибрата. Ты идеалистка. Если бы это было до революции, ты бы наверняка пошла в народ, как это делали народники.

- Я чувствую себя хорошо, Александр, в провинции, "в дыре", как ты называешь наш городишко, так как люблю простой народ и поэтому рада ему служить.

- А я все время виню себя, что из-за меня ты оставила университетскую клинику, превратилась из клинициста в участкового врача. Ведь здесь трясина и серость.

Александр Степанович был агрономом-энтомологом, которого перевели в провинцию, срочно нуждавшуюся в специалисте по борьбе с насекомыми-вредителями. Его жена, с трудом получив назначение в тот же городок, последовала за ним.

- А здесь эти ужасные ночные вызовы, - продолжал он, - во время которых я теряю покой. Если что-либо случится с тобой, я никогда не прощу себе этого.

- Перестань винить себя - не из-за тебя я бросила клинику. С твоим переводом мне представилась возможность делать то, о чем всегда мечтала, вот и все, - проговорила Гарина скромно с располагающей откровенностью. - А ночные вызовы - часть моей работы. - Она мило улыбнулась мужу, который обнял ее и поцеловал в лоб.

* * *

У Гариных образовалось целое хозяйство: корова, коза, утка и петух. Корову купили, и ее забирал в стадо пастух. Козочку и птиц подарили Прасковье Павловне ее пациенты за медицинские услуги. Эти питомцы сдружились меж собой и стали ручными, везде следуя за своей хозяйкой. Можно иногда было видеть доктора, спешившую к единственному телефону на станции в сопровождении своего "зверинца". За нею по пятам следовала белая коза, за козой важно маршировал черный петух. Шествие замыкала отстающая от всей компании коротконогая, переваливающаяся из стороны в сторону утка. С последней, как самой безобидной и спокойной, разрешали играть Женечке. Днем два друга не расставались часами. Женя всю теплоту сердца отдавала своей любимице. В кухне утку кормили, а

на ночь для обоюдного спокойствия хозяев и птицы выносили в сарай.

Однажды утром, когда супруги Гарины были уже на работе, случилось в доме несчастье.

Санитар амбулатории, щуплый, всегда с удивленным выражением лица человек, живший с женой и золотушным сыном-школьником в том же здании с черного хода, прибежал на кухню к Гариным и объявил Анюте:

- Этой ночью в сарай забралась вонючка и загрызла вашу утку.

После этих слов нечего было и думать, чтобы удержать Женю в доме. Все поспешили на место трагедии. В сарае на соломе лежала окровавленная утка. Ей перегрызли горло, и голова ее была размозжена. Как видно, раненая, спасаясь от вонючки, она пыталась взлететь на шест, где всегда ночевал петух, но, неповоротливая и тяжелая, при каждой попытке падала вниз. На стенах там и здесь виднелась кровь, и везде лежали утиные перья - она отчаянно боролась за свою жизнь. Женя стояла, оцепенев и вперив взгляд в свою мертвую любимицу, - первый раз в жизни она столкнулась лицом к лицу со смертью.

- Ночью я слыхал в сарае какой-то шум - мычала корова, кричал петух, а больше всего утка, - говорил санитар, - я уже хотел пойти проверить, что там случилось, но все сразу умолкло, и я опять уснул.

- Бедная утоцка клицала, клицала, - заплакала девочка. - Моя утоцка клицала, звала на помосць. - Слезы неудержимо лились из ее глаз, и она, по-детски шепелявя, повторяла одну и ту же фразу. Успокоить ее было невозможно, она горько рыдала. Пришлось вызвать мать из переполненной пациентами амбулатории.

- Зачем ты пустила ребенка к утке?! - позже упрекнула доктор Гарина Анюту.

- Я ее не пускала, она сама побежала в сарай.

- Нужно было не разрешать ей туда идти, удержать.

- Куда там было ее удержать, - махнула рукой девушка.

Только успокоив дочь, Гарина вернулась к пациентам. Но вечером, в то время, когда утку обычно выносили в сарай, переживания ребенка возобновились с новой силой.

- Она клищала, бедненькая, - повторяла огорченная девочка. И уже до самого сна нельзя было ее успокоить. Матери пришлось прилечь возле нее. Но Женечка не заснула, прежде чем не придумала план, как отомстить вонючке, и не изложила его матери.

- Сначала мы пустим на нее жатку, потом порежем ее ножиком и, наконец, поколем ее иголочкой.

Женя видела, как в амбулаторию привезли раненного жаткой при уборке хлебов мальчика, а о ноже и иголочке, считавшимися ею самыми страшными орудиями пыток, говорила, опираясь на собственный краткий жизненный опыт.

В полночь доктор Гарина проснулась от звонка. Возле себя она слышала спокойное дыхание спящего ребенка. Детское личико освещал через окно фонарь у входа в амбулаторию. Она осторожно вылезла из-под одеяла, одела фланелевый халат и пошла к двери, к которой уже спешила Анюта. На девушке были шлепанцы и пальтишко, наброшенное на ночную рубаху. Когда открыли дверь, черная ночь холодным порывом ветра ударила Гарину в лицо, оставив в ее спутанных от сна волосах пожелтевший тополиный листок. На крыльце стояли три человека. Двое из них были станционными рабочими: средних лет коренастый, лысеющий мужчина по фамилии Шохин, уже не раз со своей семьей пользовавшийся ее врачебными услугами, и его квартирант, светлобровый дебелый комсомолец Федька, самоуверенный и хамоватый, не так давно появившийся в этих краях, ярый активист и оратор на всех собраниях.

- Доктор, для вас срочный вызов, - сказал Шохин, - у будочника жена рожает, на пятом перегоне.

- С родами почему вы не обратились к нашей акушерке? - спросила она. - Это ее обязанность.

- Акушерка уже у нас. Она-то за вами и послала, без вас никак не обойдется. Неправильные роды - младенец поперек идет, - объяснил третий мужчина. - Пожалуйста, уж собирайтесь. - В его голосе звучала мольба, черные, колючие, как булавочные головки, глазки беспокойно прыгали с лица на лицо. Это был невзрачный человек лет двадцати пяти с длинной шеей и нервными движениями.





Прасковья и Александр, мои родители в молодости.

Анюта, стоя рядом с доктором, зябко куталась в пальтишко. Лицо ее со сна разрумянилось еще больше, тугая коса расплелась и волосы рассыпались по плечам. Борясь со сном и зевая, она по-совьи выпучила глаза.

- Тебе, Анюта, нечего мерзнуть, иди в дом, милая. Чего доброго, еще простудишься, - заметила ласково Гарина. Девушка ушла, а она спросила: - Как мы доберемся к роженице?

- Поезд сейчас туда не идет, но дежурный по станции дает шведку, - сказал Шохин.

- Хорошо, ожидайте, буду сейчас же готова, - направилась она к себе в квартиру.

- А вы, докторша, накиньте на себя что-либо потеплее - в поле ветрено, продрогнете, - услышала она за собой заботливый голос Шохина.

Переодевшись, врач уложила нужные инструменты в кожаный чемоданчик, ее спутник при вызовах. Йод, спирт и раствор сулемы были взяты для дезинфекции.

ШВЕДКА

Через несколько минут четыре человека направлялись к железнодорожному полотну. Будочник очень нервничал. Он то забегал вперед, то возвращался к остальным, потирал руки и кашлял. Издали ветер иногда приносил песню:

"Розпрягайте, хлопци, кони..."

Следующей строки не было слышно, но потом опять отчетливо выплыло:

"А я пиду в сад вышнэвый..."

Это пели "парубкы" и "дивчата" где-то за левадой на самом ближнем хуторе. "Для молодежи ни ночь, ни плохая погода нипочем", - подумала Гарина.

Все были сорваны с постели, все говорили нехотя. Лишь Федька-комсомолец спросил ее, словно невзначай:

- А эта Анюта, что она ваша родственница?

- Нет не родственница - она у меня работает, - ответила доктор, вспомнив, как он рассматривал внимательно девушку у двери.

- Не родственница, но ей живется у докторши, как близкой родственнице, - заметил Шохин, хорошо знавший отношение Гариных к девушке.

Мужчины поставили на рельсы шведку, подсадили на нее врача и сами вскочили.

А теперь несколько слов о шведке, этом особом произведении железнодорожной техники. Шведка - не что иное как небольшая деревянная открытая площадка, установленная на четырех колесах для передвижения по рельсам с помощью физической силы человека. Над площадкой находится ручка, которую двигают вперед-назад, "качают" два человека.

Когда выехали в поле, стало совсем неуютно. Шведка со своими четырьмя пассажирами храбро неслась вперед. Она была самым высоким предметом, на который наступал и который терзал степной ветер.

Шохин и Федька работали усердно. Их фигуры в такт то нагибались, то вновь выпрямлялись.

- Давайте-ка я вам помогу, - предлагал с готовностью будочник.

- Мало места для троих у ручки, - объяснял Шохин.

- Вы уж постарайтесь, братцы, - молил будочник дрожащим голосом.

Железнодорожная линия вела к невысокому холму. Вскоре шведка стала взбираться на подъем. Качать стало тяжелее.

Доктору Гариной пришел на память один из ее экстренных вызовов в начале лета. Она спешила к пациентке, жене смазчика, у которой было сильное кровотечение после неудачного аборта, сделанного бабкой. Для врача специально остановили товарный поезд, который должен был подвезти ее до полустанка, откуда рукой подать до села, где жила пациентка. В то время было нашествие гусениц. Они поедали все растения на полях и, гонимые голодом, искали новые участки. В местах, где они переползали через железнодорожное полотно, блестящие рельсы словно обрывались - их застилал сплошной покров из кишащих жирных зеленых телец. Создавалось впечатление будто изумрудная степь хлынула на линию и затопила ее. Колеса паровоза раздавливали тысячи, но на их место в таком же

количестве ползли другие. Поезд пыхтел, подвигался медленно вперед, словно отсчитывал каждый свой шаг. Поток гусениц ее, врача-горожанку, никогда ничего подобного не видевшую, совсем загипнотизировал. И вот, как раз в этом месте, идя на подъем, поезд сдался под натиском врага и бессильно остановился. Колеса буксовали на жирных рельсах. Много раз паровоз пробовал сдвинуться, но безуспешно. Машинист совещался со своим помощником, что делать: послать людей сметать метелками гусениц с рельсов или дать знать на соседнюю станцию. Время шло. Врач нервничала - ее пациентка где-то истекала кровью. Когда поезд двинется, тогда уже, возможно, ее помощь опоздает. Большая часть пути оставалась позади и... она решила добраться до села пешком... и хорошо сделала. Входя в хату к больной, она все еще слышала позади бесполезные попытки буксовавшего поезда, который никак не мог сдвинуться с места. Свою пациентку она застала в тяжелом состоянии, ее пульс был очень слаб, землистого цвета лицо, нос заострился - она потеряла много крови. Пришлось впрыснуть кровоостанавливающее и лекарство для повышения сердечной деятельности...

Доктора Гарину из мира воспоминаний к реальности возвратил будочник.

- Ну, хлопцы, давай-давай, поторопитесь же! - подгонял он рабочих. Последнее время он совсем перестал владеть собой. То он соскакивал с медленно идущей шведки и бежал за ней, спотыкаясь в темноте о шпалы, то опять прыгал обратно и подстегивал рабочих словами. Железная дорога врезалась в холм. По обеим сторонам поднимались довольно высокие откосы, очертания которых смутно вырисовывались на фоне темного неба. Ветер в этом ущелье немного стих.

- Ты полезай-ка наверх, на откос, и посмотри, что делается за холмом, - бросил Шохин будочнику. - Хотя дежурный по станции и сказал, что линия свободна, чего доброго, еще поезд по этой линии пустят.

Будочник тотчас соскочил со шведки, вскарабкался вверх по крутому склону и исчез в темноте.

- А вас, докторша, в станционной стенной газете пропечатали, - сказал между прочим Федька.

- О, да?! - удивилась Гарина.

- Скорее смешно, чем обидно, - заметил Шохин.

В это время сверху раздался неистовый крик. Но слов будочника за грохотом шведки и ветром нельзя было разобрать. По быстрому приближению голоса можно было судить, что будочник не спускался, а катился вниз. И вот каждое его слово, наполненное ужасом, они услышали отчетливо.

- Встречный поезд мчится прямо на нас. Спасайтесь!

Затем все произошло удивительно быстро. Доктор Гарина сорвалась со скамейки и бросилась под откос в канаву. Остро заныло ушибленное о землю колено. Запах сырой земли и полевых увядших растений ударил ей в нос. И уже из-за поворота, из темноты, вынырнули два ярких, слепящих гла́за паровоза, - в то же мгновение почти рядом с ней в канаву грохнулась перевернутая Шохиным и Федькой шведка. "Ж-у-у-у-х", - промчался мимо паровоз, обдав пассажиров шведки паром и ветром.

Врач, немного хромая, прибыла к роженице. Ребенок находился в поперечном положении, о чем свидетельствовало выпадение ручки. Гариной удалось искусно повернуть младенца в матке. И вскоре нервный будочник превратился в счастливого отца крошечного шестифунтового, совсем красненького и крикливого мальчика.

На следующий день доктор Гарина стояла на станции перед стенной газетой. В ней под заголовком "Врачебные вызовы" красовался довольно длинный стишок. Главным действующим лицом была она, доктор Гарина, спешившая на вызов к больному. За ней верно следовали три ее питомца: коза, петух и утка. Эта сцена была изображена довольно талантливым рисунком. Вот доктор со своим зверинцем входит к пациенту. Звери мирно рассаживаются вокруг кровати больного, жена которого обращается к врачу:

"Вы б поставили термометр, смерили бы температурку..." На это врач щупает пульс и отвечает:

"...Да зачем же мне термометр - коль холоден и не дышит, значит умер по всем швам..."

Газета обсуждала и другие случаи ее врачебной деятельности, но это скорее была критика не ее, а условий работы.

В амбулатории, обслуживающей несколько тысяч человек, всегда наблюдалась ужасная недостача медикаментов, перевязочного материала, инструментов, и даже не было уже третий месяц термометра, несмотря на то, что врач писала не раз об этом своему начальству. Она, прочитав стихи, горько улыбнулась и сделала для себя мысленную заметку - написать письмо в Киев своему коллеге по клинике и попросить его достать для нее где-либо на черном рынке термометр.

* * *

Первый снег лежал уже дней десять, а ночью поднялась сильная метель. С восходом солнца все выглядело фантастически - и палисадник, и поле, сверкая ослепительной белизной. Только там, где прошел человек, он осквернил своим прикосновением девственность чистого покрова; да ранний поезд разрезал снег, словно ножницами, двумя параллельными линиями. Ветви деревьев наклонились от тяжести. Особенно досталось соснам и елям - они совсем изнемогали под бременем снега. Все было пушисто, нарядно, празднично. Люди энергично взялись за лопаты, начиная с домашних хозяек и кончая станционными рабочими. К полудню появились тропинки, и сани уже утрамбовали дорогу.

Для ребенка все вокруг казалось волшебной сказкой. Маленькая Женя в валенках и шубке брела по снегу, обходя дорогу и выбирая самые высокие сугробы. Снег пылил ей в лицо, набивался в перчатки и валенки. У девочки щечки стали алыми.

- Женечка, что ты делаешь? - услыхала она.

Это был господин с пышными усами в форменной одежде железнодорожника.

- Здлавствуйте, танцик тации (это вместо начальник станции), - прошепелявила она, весело улыбаясь отцу своей подружки Галочки. - Я играюсь со снегом, - объяснила девочка.

- Но ты ведь валенки и шубку испортишь, ножки промочишь и заболеешь.

Девочка внимательно разглядывала свои варежки и рукава шубки.

- Ну и что же, а мне удовольствие, - серьезно ответила она.

- Мама знает, что ты здесь? - спросили ее опять.

- Я с няней, - показала она рукой на дорогу. Там за станционным садиком разговаривала Анюта с комсомольцем Федькой. Ее лицо излучало озабоченность и волнение. Видимо, парень проникновенно убеждал ее в чем-то очень важном. Девушка так была занята беседой, что не сразу услышала, как ее окликнул начальник станции и, неохотно распрощавшись со своим собеседником, пошла вытаскивать из сугроба Женю, все еще думая о Федьке. Он с некоторых пор ворвался в ее жизнь, как сильный ураган, перевернул все вверх дном и наполнил ее сердце еще незнакомым ей счастьем.

* * *

В конце января доктор Гарина получила повестку явиться 12-го марта в суд. Ее словно ударили. Она не поверила своим глазам: иск был подан домашней работницей Анютой. Сраженная такой наглостью и дрожа от гнева, Прасковья Павловна вбежала в кухню, где чистила картофель девушка.

- Что это? - сунула она повестку Анюте под нос.

- Это судебная повестка, - невозмутимо заявила работница, но багровый румянец на щеках выдавал ее волнение.

- Я вижу, что это судебная повестка, я не слепая, - горячилась врач. - Но за что же ты меня судишь?

- В суде узнаете, - был довольно дерзкий ответ. По-видимому, девушка все больше и больше входила в свою новую роль и становилась злой и независимой.

Когда Гарин возвратился с работы, жена шепотом изложила ему последнюю новость.

- Выгнать, сразу же выгнать эту неблагодарную скотину, - вспылил он. - Нечего с ней миндальничать.

- Подожди, подожди, Александр, - успокаивала его жена. - Ты же знаешь, что в наше чрезмерно сложное время спустили с цепей собак, и все суды за пролетариев. Давай сначала посоветуемся с юристом. Благоразумие всегда вознаграждается.

После ужина Гарины пошли к знакомому пожилому юристу.

- Я бы советовал вам до суда не выгонять домашней работницы, - заявил седовласый служитель закона. - Как-то пере-

мучайтесь это время, тогда у вас будет больше шансов выиграть дело.

Гарина видела, как мужа всего свело от безвыходности положения. В доме начался кромешный ад. Анюта совсем обнаглела и разленилась. Она стала все чаще отказываться от всякой порученной ей работы.

- Я этого не буду делать, - вызывающе-нахально говорила она. - И все равно вы меня не выгоните.

Приходилось держать хорошую мину при плохой игре. Тяжесть домашней работы легла на Прасковью Павловну. Да и вообще, разве можно было поручать приготовление пищи враждебно настроенной девушке - еще подсыпет чего-либо в еду. Тем более Гарина не могла ей доверить своего единственного ребенка.

Развязка наступила неожиданно. Александру Степановичу, только что вернувшемуся домой, пришлось наблюдать следующую сцену: на звонок Анюта открыла дверь бедненько одетой, застенчивой женщине. В это время вошла в дом из сарая, где она чистила корову, его жена. Хозяйка и работница стояли рядом. Анюта - краснолицая, холеная, чистенькая, отдохнувшая. Его жена - в измазанной навозом тужурке, в платочке, повязанном на лбу, усталая, с темными кругами под глазами. "Как Паша изменилась за последнее время", - подумал Александр. Женщина, не знакомая с врачом, обратилась к прислуге:

- Докторша, дорогая, пошли ко мне, у меня ребенок очень болен...

Когда же она узнала, что сделала ошибку, приняв прислугу за врача, она совсем оробела и начала извиняться:

- Простите, простите... - лепетала она. - Я сразу и подумала: не может быть такая молодая докторша. Вы уж не серчайте на меня...

Когда Гарина ушла к больному ребенку, ее муж направился в кухню.

- Собирайся, - сказал он строго Анюте. - Сейчас же собирайся. Вот тебе плата за два дня, за два дня, во время которых ты ничего не делала. И убирайся по добру, по здорову...

Слова хозяина и выражение его лица, не предвещающие ничего хорошего, огорошили наглую девушку. Она изумленно и испуганно застыла у плиты.

- Давай, давай, а то я тебя выброшу, как паршивую собаку, - грозно подстегнул он ее.

Под его тяжелым взглядом Анюта собиралась молча, но когда с вещами вышла из квартиры во двор, подбежала к двери санитара и начала неистово стучать.

- Меня выгнали эти буржуи, враги народа, - закричала она пронзительно. - То работой томили, а теперь выгнали среди ночи.

У санитара никого не оказалось дома.

- На суде мы еще разберемся, как вы меня эксплуатировали... - голос Анютки стал постепенно удаляться, тогда Александр облегченно вздохнул и сел за газету.

БОСИКОМ

В феврале Женя сделала первые шаги на поприще поэзии. В солнечный выходной день Гарины были приглашены к фельдшеру на его день рождения. Фельдшер жил в самом городке довольно далеко от станции. Так как ребенка не на кого было оставить, Женю взяли с собой. Ехали на извозчике. Холодный ветер хлестал в лицо и срывал снег с сугробов, заставляя их как бы дымиться. Сани легко скользили по укатанной, блестевшей на солнце дороге. Девочка совсем неожиданно стала лепетать рифмованные фразы. Агроном Гарин, сам обладатель поэтической натуры, был в восторге. Он поспешно вынул из кармана блокнот и карандаш и крикнул кучеру:

- Ты, Прохор, уж не так шибко, пожалуйста.

Они ехали вдоль железнодорожных линий, на одной из которых стоял товарный состав.

- Что это такое? - спросила Женя, указывая на возвышавшуюся над одним вагоном будку. Родители объяснили ей, что там помещается тормоз. И девочка, как пифия, уже изрекала стишок:

"На тормозе стоит рыбка
И дает сигнал улыбкой..."

Отец за ней быстро записывал, гордо бормоча себе под нос:

- Недурно, совсем недурно.

Гарина знала, что ее муж будет скромно хвалиться этим стишком перед своими коллегами. Он никогда не упускал случая рассказать об успехах своей любимой дочери.

Дорога тем временем повернула круто налево и сразу отошла от рельсов. Солнце стало светить им прямо в лицо. Направо чернел голый небольшой лесок. У девочки опять зашевелились губы:

"Здравствуй, солнце, здравствуй, лес,
Здравствуй, синий свод небес".

Дальше пошла степь, пересекаемая телеграфными столбами, что вновь нашло отражение в творчестве только что родившегося поэта:

"Поле, столбик, пустота, -
За верстой летит верста".

У счастливого отца руки покраснели от холода, но он не обращал на это никакого внимания.

- Может быть, наша дочь будет вторым Пушкиным, - восторженно говорил он. - Возможно, это исторические минуты в литературе, когда новый поэт сделал свои первые литературные шаги. А ну-ка, ну-ка еще, детка.

Но детку отвлек какой-то темный комок, катившийся через поле по снегу.

- Что это? - спросила девочка.

- Это зайчик, - объяснила мать.

- Какой он славненький и как он красивенько прыгает, - захлопала в ладоши Женечка. - Мама, папа, купите мне зайчика.

Но несмотря на то, что родители пообещали купить зайчика, на личико девочки набежала тень.

- Нет, не нужно мне зайчика, - решительно проговорила она и объяснила: - Зайчика задушит вонючка, как и мою уточку, - вспомнила она свою любимицу.

Как родители, особенно отец, ни старались возвратить дочери творческое настроение, вдохновение уже ушло. Напрасно отец просидел до самого города, не одевая перчаток.

- Проклятый заяц, - бормотал он.

Гарины возвращались от фельдшера домой довольно поздно. Женя уже спала у отца на руках. В передней перед их дверью сидела на мешке женщина-крестьянка в тулупе и клетчатом платке на голове.

- Я - Мавра, сестра Варвары Шохиной. К вам служить пришла, - она отрапортовала, проворно соскочив с мешка.

- Да, ваша сестра мне обещала вас прислать, - ответила Прасковья Павловна.

Мавра оказалась миловидной шустрой женщиной с прядями седых волос на висках. Пока ее накормили и устроили на новом месте, было за полночь. И уже когда все собирались идти спать, доктора Гарину вызвали на экстренный случай, за километров двадцать от ее дома. Пришлось спешить на поздний рабочий поезд. В нем с дальней узловой станции возвращались рабочие с ночной смены. В вагонах разило потом, смазкой и табаком. Пока поезд дотащился до городка, где находилась амбулатория, пассажиров осталось меньше половины. Они в залатанной и грязной одежде или спецовках, с лицами, часто испачканными смазкой, выглядели как негры. При тусклом освещении вагона блестели лишь белки глаз и зубы на их замкнутых лицах. Ночью рабочие возвращались усталые и в большинстве случаев молчали, только некоторые грызли семечки, да из отдельных групп изредка доносился мат. Присутствие женщины-врача, знакомой им по осмотрам и собраниям, оказывало на них благотворное влияние, сдерживало их.

Доктор Гарина, предупредив кондуктора, чтобы тот ее разбудил, если она задремлет, выбрала самое крайнее пустое купе рядом с небольшой печкой-буржуйкой. Последняя уже

угасла, но все еще излучала тепло. На ходу вагон качало и шатало. Холодные заснеженные километры летели навстречу поезду. "У-у-у-х", - пронесся за окном мост, напомнив Прасковье Павловне, что она на этом участке была совсем недавно, тоже на экстренном случае у промчавшегося мимо моста... Тогда перед ее приездом уже кто-то успел оттащить от железнодорожных рельсов раненого юношу, и он лежал в сторонке на снегу возле низеньких столбиков, по которым шли провода к ближнему семафору. Пострадавший имел на вид не больше пятнадцати лет, взлохмаченные каштановые волосы, бледное лицо, закрытые глаза. На виске она заметила рану, совсем незначительную, даже не было крови, лишь ободранная кожа. Возле юноши - ранец с книгами. Из ранца высунулась тетрадь, на ней виднелась надпись фиолетовыми чернилами: "Тетрадь Алексея Федоренко, ученика седьмого класса". Рядом с ранцем на обагренном кровью снегу лежала изувеченная нога. Кто-то стянул уже ремнем у пореза культю и перевязал ее полотенцем. Доктор подняла веки юноши. Зрачки не реагировали на свет. Она взяла его руку в свою - пульс не прощупывался. Расстегнув тужурку, она приложила к сердцу стетоскоп. Сердце молчало.

- Я помогу вам, докторша, доставить его в больницу, - предложил какой-то крестьянин, у которого лошадь с телегой стояла возле моста.

- Ему не нужна больше больница, - произнесла она тогда мрачно. - Вообще ему не нужно больше ничего - ни песен, ни слез.

С помощью рассказов очевидцев можно было легко представить, что случилось.

Юноша после уроков, не желая долго ожидать рабочего поезда, которым обычно возвращался в село домой, воспользовался более ранним товарным, что строго-настрого воспрещалось. Уже когда поезд находился в движении, кондуктор обнаружил нелегального пассажира, и началась погоня. Испуганный ученик удирал по крышам вагонов в направлении паровоза. Он часто поворачивал голову назад, чтобы иметь в поле зрения своего преследователя, и не заметил, как поезд приблизился к довольно низкому мосту. Удар пришелся как раз в висок, даже несколько волосков осталось наверху, на стальной

конструкции. Юноша был убит наповал; труп упал между сцепов на рельсы, где ему отрезало ногу... "Что за люди, - подумала сейчас врач, - кондуктор видел, что молодая жизнь движется к гибели, но, увлекшись исполнением обязанностей, не предупредил... А может быть, и кричал ему, предупреждая, но мальчик не понял..." Доктор Гарина постаралась отогнать грустные мысли. Она, почувствовав себя очень усталой, вытерла бумажкой скамейку и прилегла на ней, подложив под голову свой врачебный чемоданчик. Вагон качало на рельсах, как люльку, и она стала медленно погружаться в дремоту. Перед ней один за другим начали появляться милые ей образы: то ее муж Александр, то Женечка, и в ее мозгу всплыло недавнее сочинение дочери:

"На тормозе стоит рыбка
И дает сигнал улыбкой".

И ей уже снилась тормозная будка товарного вагона, и там на своем раздвоенном хвосте стояла чудесная золотая рыбка, как в сказке Пушкина. Она гибкими плавниками усердно крутила тормоз и мило улыбалась, показывая остренькие зубки. Прасковья Павловна уже спала глубоким сном. Она только через некоторое время, так же неожиданно, как заснула, пробудилась. По фонарям, медленно проплывавшим мимо окна, она поняла, что поезд подъезжал к станции, и опустила ноги на пол. Холод сразу электрическим током пробежал от ступней по всему ее телу. С удивлением она обнаружила, что была босая, только в чулках. Ни на скамье, ни под скамьей ее туфель и галош не оказалось. Кто-то их снял прямо с ее ног, уворовал. Она, осторожно ступая на цыпочках, пошла по грязному, местами мокрому полу в тамбур вагона и рассказала о случившемся проводнику.

- Ничего, докторша, - успокоил он ее. - Я помогу вам отыскать отца больного ребенка, к которому вы вызваны. Все устроится, докторша.

Он, спросив имя отца, стал спускаться по ступенькам уже остановившегося вагона.

- Иван Сердюк здесь? - раздался его громогласный голос.

- Здесь, здесь, - послышалось с другого конца перрона.

К проводнику бежал, запыхавшись, мужчина в шапке с наушниками и в черном пиджаке. Вскоре он бережно нес на руках, как дитя, Гарину через линии, перроны и станционный зал. На него с удивлением смотрели редкие пассажиры, дежурный по станции и полусонная продавщица в буфете. А он с возмущением объяснял:

- Безобразие, вот украли у нашей докторши туфли, а у меня дочка дома умирает.

На площади позади станции стояла саврасая кобыла, запряженная в крестьянские сани. Иван Сердюк усадил Гарину на сено и укрыл ее ноги одеялом. Он сам, проворно вскочив, сел рядом с ней и дернул за поводья. Сани понеслись.

Уже при входе в дом врачу стало ясно, что с пациенткой. Свистящее, затрудненное дыхание донеслось до ее слуха. Она быстро осмотрела посиневшего ребенка, обложенные язык и горло, сильно увеличенные миндалины. Дифтерит - поставила она диагноз. Пока довезут до больницы, девочка задохнется. Оставалось одно: на дому в примитивных условиях делать трахеотомию. Итак, она при свете керосиновой лампы прорезала скальпелем на шее трахею и вставила в нее трубку. Сразу грудь ребенка после нескольких жадных спазматических движений в борьбе за кислород стала ритмично и спокойно опускаться и подниматься.

Утром доктор возвращалась с подарком домой: парой не совсем новых, но еще приличных туфель.

* * *

Гарина была так расстроена и глубоко обижена поступком Анюты, что от суда в ее памяти остались лишь отдельные фразы и картины.

... Анютка нагло клеветала на нее и мужа, обливала их грязью, утверждая, что не только за праздники или выходные ей не уплатили, но что и вообще она работала лишь за питание.

- Я ей все уплатила, - ответила грустно доктор.

- У вас, товарищ доктор, есть расписки за уплату труда? - спросил толстый, строгий судья.

- Расписок не имею, - тихо произнесла она, сожалея, что не учла советов мужа, не желая показать Анюте, что стала ей не доверять.

Дело уже совсем приобретало политическую окраску - эксплуатация рабочего класса, угнетение пролетариата... Но тут на помощь пришли свидетели Гариной: тетка Анюты, честная и трудолюбивая женщина, знавшая, как хорошо жилось ее племяннице у хозяев.

- Приезжаю я в гости к племяннице, а нашей Анютки не узнать: округлилась, щеки красные, словно бураком натерла, - говорила она на суде. - Я спрашиваю ее: "Что это ты накрасилась?" Присматриваюсь и вижу, это не краска на лице, а это она от хорошей жизни у докторши морду себе разъела. Да и деньга у нее завелась...

Шохин оказался тоже случайным свидетелем, когда доктор платила Анюте, а его жена так и бросила девушке в лицо осуждающе:

- Бесстыдница ты, срамница. Да я все слыхала, как Федька, наш квартирант, тебя подговаривал. Вы-то думали, что никого дома нету, а я в своей комнате спала. Просыпаюсь от голосов, а это Федька Анютку привел да и торочит ей: женюсь, мол, на тебе, если высудишь хорошие деньги, а иначе и не думай. - Она подробно и убедительно рассказала весь этот подслушанный разговор.

Были допрошены и другие свидетели врача, а также и Федька, единственный свидетель Анютки. В общем суд вынес неожиданное по тем временам решение: требование домашней работницы об уплате ей работодателями 2.000 рублей необоснованно.

Прасковья Павловна в сопровождении мужа поспешила выйти из суда, чтобы у двери не встретиться со своей бывшей прислугой.

В конце апреля все цвело и благоухало. С утра прошел дождик, теплый, весенний, потом выглянуло солнце и уже не заходило до самого вечера. После работы доктор Гарина читала медицинский журнал, ожидая мужа. Женечка играла с кук-

лой возле нее, а Мавра накрывала к ужину стол. Зазвонил звонок. Предполагая, что это пациент, доктор пошла к двери. Каково же было ее удивление, когда она лицом к лицу столкнулась с Анюткой, изменившейся за сравнительно короткое время до неузнаваемости - взгляд девушки потух, щеки побледнели, она была одета очень бедно и небрежно.

- Докторша, меня Федька бросил, когда мы прожили все, что я имела, - заплакала она. - Мне у вас было хорошо. Это он во всем виноват. Он меня подговорил подать на вас в суд, обещал жениться. Я, глупая, соблазнилась. А теперь он выгнал меня. Несчастная моя головушка! Простите же, докторша, простите, - она, причитая и захлебываясь от слез, упала перед Прасковьей Павловной на колени.

Не надо, не надо, - уже смягчаясь, подняла Гарина девушку. - Что же ты теперь будешь делать? - поинтересовалась она.

- В селе никого из родни не осталось, - всхлипывала Анюта. - Тетка сама пошла в город, в прислуги. Возьмите меня назад, докторша, буду вам служить и правдой, и совестью.

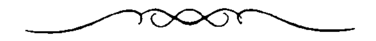
Гарина молчала. В ее голове пронесся вихрь мыслей. Она еще помнила обиду, нанесенную Анютой, ее наглость, бессонные ночи, страшные часы суда, но, странно, смотря на эту обездоленную девушку, она не чувствовала больше ненависти к ней.

- Я тебе все прощаю. Бог тебе судья, - сказала она грустно. - Но принять назад я тебя не могу. Тебя принять - значит уволить нашу Мавру, а Маврой мы все довольны. К тому же, после всего, что было, нам будет трудно вместе.

Анюта с потерянным видом пошла к выходу. Вдруг все ее тело затряслось от рыданий.

- Подожди, Анюта, - окликнула ее доктор и затем, взяв половину черного хлеба, завернутого в газету, сунула его девушке в руку и дала еще двадцать пять рублей.

- Это поможет тебе перебиться, пока ты устроишься в другом месте, - сказала она.





ЖЕЛТОРОТЫЕ
(МОЙ ПЕРВЫЙ КЛАСС)

Ясный сентябрь. Золотистые лучи солнца больше не жгут, а ласкают. Пышная листва не успела еще поблекнуть. На шумных улицах города умолкли детские голоса, но зато в школах - столпотворение. У нас их две рядом - бывшие здания мужской и женской гимназий. В бывшей женской размещены младшие классы. Там, где когда-то через забор гимназисты таинственно передавали скромным девицам волнующие любовные записки, теперь живая изгородь. Малыши не ходят к взрослым. У них своя жизнь.

На широкой площади, поросшей травой и подорожником, собрались все четыре класса. У каждого из классов несколько параллельных: А, В, С и так далее. Только нас, первоклассников, еще не успели разделить. Мы - наряденькие, чистенькие, причесанные, выглаженные. Мне уже знакомы некоторые дети: бедовая скуластая Верка с ногами-тумбочками, кудрявая хорошенькая Рая с огромным розовым бантом и хрупкая, как былинка, пугливая Аллочка с куцей косичкой. Я знаю также Жанну. К ней все относятся с уважением, даже учителя: ее папа - директор десятилетки, и живет она в самой школе.

"Первое сентября - первый день календаря..." - незабываемая для меня дата. К ней я готовилась всю жизнь. На мне моя любимая клетчатая юбочка, белая блузочка и такие же носочки с синей каемкой. Мои непокорные волосы подстрижены. Радость, счастье и ликование переполняют мне душу. Но второклассники омрачают это прекрасное утро. Такой уж неприятный народ!

- Эй, молокососы! - кто-то кричит нам, а Сенька, крепыш с выгоревшей гривой, презрительно заявляет:

- Желторотые!

Остальные подхватывают:

- Жел-то-ро-ты-е... - Ах, как это обидно!

Мы, толкаясь, стоим взбудораженной, растерянной стайкой, и вправду напоминая желторотых птенцов: у одной девочки - усы от молока, рядом с ней шмыгает носом рыжий Борька. У него веснушчатое лицо, точно воробьиное яйцо. В зеленых глазах вспыхивают от оскорбительных слов зловещие огоньки. Он полон боевого пыла и отвечает второкласснику дразнилкой:

- Сенька-дурак полез на чердак, чердак провалился, Сенька убился.

- Ду-ра-ки!.. - теперь скандируем мы. Сенька со звериным рычанием бросается на Борьку.

- Смирно! - одна из учительниц четко, по-строевому призывает драчунов к порядку, и сам директор, бочком вынырнув из группы взрослых, появляется перед нами. У него округлый лоб и широкие брови - точно как у Жанны. Он говорит нудно и долго "трескучие слова пропаганды" (сказала бы мама). Из всей его речи я понимаю только одно - мы за все должны быть благодарны партии. "И за новую куклу, подарок папы?" - тревожит меня невысказанный вопрос. ("Партия, - объяснила мне мама, - это власть имущие").

После собрания нас ведут в здание школы. За нами резво и задорно следуют второклассники. В отместку за "дураков" они больно наступают нам на пятки.

Верка не спрашивает, а требовательно заявляет:

- Будем сидеть вместе, Женька.

Моя парта у окна. На ней остались инициалы наших предшественников. Учительницу мы получаем самую старую, седую и сутулую, с лицом, похожим на вялую картофелину. Ее зовут Мария Яковлевна. Она говорит: если мы ее не угробим до конца года, она выйдет на пенсию. "Как можно угробить учительницу?!" - мучает меня любопытство.

Верка становится причиной всех моих бед. На уроках она то и дело обращается ко мне шепотом. Это она делает ис-

подтишка, ничуть не двигая губами. Я же так говорить не умею и всегда попадаюсь. Мария Яковлевна, раздраженно выпучив свои тускло-серые глаза, которые через линзы очков кажутся громадными, повергает меня в дрожь криком:

- Увага! Увага! Увага!

Я обиженно отворачиваюсь к окну. Там палисадник - вытянулись тополя, там подняли свои тяжелые головки лиловые и малиновые астры. Их насадили сами ученики. Я гадаю, какую клумбу получит наш класс весной для обработки... и опять:

- Увага!.. - троекратно раздается над моим ухом, и костлявый указательный палец направлен на меня.

На переменке я жалуюсь Верке:

- Почему Мария Яковлевна называет меня "Увагой"?

Веркины брови поднимаются недоуменно домиком, она начинает давиться от смеха, из глаз брызжут слезы.

- Ты уморила меня, Женька!.. Уморила!.. - скрещивает она ноги, чтобы не произошло "несчастного случая". - Вот голова деревянная. Да ведь "увага" - это по-украински "внимание".

Мне ужасно стыдно за свою неграмотность, но откуда же мне знать все тонкости украинского языка - в нашей семье говорят по-русски.

Верка, зычно гогоча, разносит по всей школе эту историю, чем навсегда приклеивает мне кличку "Увага". Да у нас у всех клички: Рая - "Плакса", то ли из-за фамилии Плаксина, то ли из-за того, что в первый день она разревелась на весь двор, когда Сенька у нее сорвал бант. Аллочка - "Шкапа" (кляча), Борька - "Мордобой", Верка - "Боксер". (Она выучилась нескольким приемам бокса у старшего брата и себя в обиду не дает). Жанну мы называем "д'Арк". Учительница говорит, что во Франции была такая героическая девушка. А у нашей Жанны папа - Герой труда.

В школе мы не только учимся грамоте, но и рисуем. Мама привезла мне из Москвы, куда ездила на съезд врачей, цветные карандаши и сказала: "Береги их, они - дефицит". (Я уже знаю, что значит "дефицит": это вещи, которых нет в магазине).

У Верки тоже коробка дефицита.

- Куда девался мой красный карандаш? - роется она в парте, лазит на четвереньках по полу и проверяет содержимое пеналов у других школьников. И вот - удивительное совпадение: и у меня исчез красный карандаш. Мама назовет теперь меня растяпой. Внезапно я обнаруживаю пропажу в Веркиной коробочке.

- Это мой карандаш, - твердо заявляю я.

- Нет, не твой, а мой, - нагло таращит она на меня свои лживые глаза.

- Да погляди же: твои - шестигранные, а мой - круглый, и на нем даже следы от моих зубов.

На эти веские доводы загребущие руки Верки складываются перед моим носом в кукиш. Спорить бесполезно. Учительнице я, конечно, не пожалуюсь, не желая прослыть ябедой, и тут же принимаю решение блистательное в своей простоте: я потихоньку выкраду свою собственность. Сегодня мы с Раей дежурные. На последней переменке, когда в классе никого нет, а Рая занята мытьем доски, я шарю в Веркиной парте. У страха глаза велики! Мне мнится, что даже стены источают порицание такому поступку. Сердце замирает. Зубы стучат, точно в лихорадке. Но вот бесценное сокровище уже в моих руках - и весь мир опять пышно расцветает передо мной. Куда же понадежнее спрятать карандаш? Засовываю его в туфлю. От этого очень неудобно идти. По дороге домой я волочу ногу.

- Увага, что у тебя с ногой? - допытывается, как мне сдается, что-то заподозрив, Верка. Мои щеки вспыхивают румянцем.

Дома я изменяю внешность карандаша: запершись в уборной, старательно обстругиваю его перочинным ножиком. Он превращается в безобразную, обглоданную кочерыжку. Чтобы хоть немного приукрасить, я макаю его в баночку с фиолетовыми чернилами и при этом изрядно пачкаю себе руки.

Наутро я сижу в школе, как на иголках, почти уверенная в том, что Верка уже обо всем догадалась. (Говорят же: на воре шапка горит!) Предвидя ожидающие меня в будущем мучения, я по дороге домой выбрасываю карандаш в захламленную железнодорожную канаву, отрешенно приговаривая:

"Пусть не достанется ни ей, ни мне". Если где-то в глубине моей натуры и имелась склонность к присвоению чужой собственности, она после этого инцидента была навсегда подавлена в своем зародыше.

У меня теперь две жизни: школьная и уличная, в которой сорванец Колька играет не последнюю роль. У него всегда какие-то дерзновенные, интересные замыслы. Вот и сейчас он составляет планы для новой экскурсии, таящей в себе невероятную прелесть. Дело в том, что в нашем городе есть огромная базарная площадь, вымощенная булыжником. По воскресеньям она кишит людьми, туда съезжаются крестьяне из окрестных сел. На площади, где от колес телег образовалась впадина и после дождя всегда стояла вода, провалилась земля. Рассказывают, что там находится секретный подземный ход, ведущий от польского костела через весь город к лесу на Юрьевой горе; якобы через этот ход когда-то польские войска проникли в тыл к казакам и взяли город. До сих пор в этих катакомбах должны быть сабли с золотыми рукоятками, старинные монеты и скелеты воинов. Мы, дети, смотрим на огражденную со всех сторон зияющую черную дыру, и наши юные умы наполняются самыми яркими фантазиями.

- Давайте проберемся в подземелье со стороны Юрьевой горы, - вкрадчивым и загадочным голосом предлагает лохматый Колька.

- А как же мы найдем вход? - слышится возбужденный вопрос.

- Вход у обрыва. У меня есть план, - многозначительно говорит наш атаман. Его загорелое, со шрамом над губой лицо расцветает от удовольствия; он видит, что "клюнуло", то есть его предложение одобрено ребятами.

Слово "план" вселяет доверие к Кольке, самому старшему из нас, которых он называет "шпаной".

И вот в прекрасное октябрьское утро три мальчика и две девочки, вооруженные фонарем, спичками и ножом, торжественно отправляются в тайную экспедицию. Мы долго бродим по лесу, но ни обрыва, ни входа в подземелье не находим. У всех уже усталые и тусклые лица. План атамана оказался липовым. Но Колька не такой, чтобы остановиться на полпути.

- Давайте возвратимся, - предлагает кто-то.

- Нет! Пойдем дальше, - коротко возражает зачинщик.

Измученная, голодная, я плетусь за другими, исполненная кротости и смирения. Но восхищенная благодарность, что меня взяли с собой, постепенно исчезает. Становится ясно, что мы заблудились. На наши ауканья и пронзительный свист мальчиков никто не откликается. И тут я не выдержала.

- Хочу домой... домой, - заревела я вовсю. Ко мне присоединяется Клавка, и получается неплохой дуэт.

Колька называет нас пренебрежительно трусихами и заявляет, что не будет больше брать девчонок в поход. Но он, видимо, тоже озадачен.

Сумерки наполняют лес призрачными тенями. Шелест деревьев, хруст валежника, уханье совы, словно предвещающее что-то недоброе, приводят всех нас в содрогание. Мы проводим эту кошмарную ночь на сухих прошлогодних листьях под ветвистым кленом, прижимаясь друг к другу, чтобы согреться. Иногда я засыпаю и мне снится что-то бурно-тревожное.

Мы поднимаемся на рассвете и до полудня петляем по лесу, пока нас, вконец измученных, не находят родители.

После происшествия с карандашом я сторонюсь Верки. Теперь мы с Раей ходим вместе в столовую за тарелкой жидкого до голубизны супа или гуляем во дворе, обсаженном каштанами. Там у забора растет колючий чертополох, и выбросил вверх свои толстые желтые стебли коровяк. Его самые мелкие овальные листочки мы вкладываем в книжки. В сухом виде они выглядят как бы сотканными из шелковых ворсинок. Мы называем их любовно "бархатными коровками". Мальчишки, понятно, такими вещами не интересуются. Они обмениваются почтовыми марками, гоняют мяч или с криком и свистом играют в "красных и белых" под предводительством воинственного заводилы Борьки.

Потянулись тоскливые дни осени, деревья облетают, хмурится небо, идут затяжные дожди. В школе еще не топят. Мы занимаемся, ежась от холода, в пальто. В углу протекает крыша. В подставленные посудины монотонно шлепают с по-

толка грязные капли. В других классах то же самое. Только рядом с нами, над квартирой Жанны, крыша целая.

В школе начинается подготовка к новогоднему представлению. Я в пьесе играю снежинку. Снежинок - много. А вот Верка отхватила главную роль. Она на сцене поет: "Метели, снега и туманы покорны Морозу всегда..." Она - настоящий Дед Мороз с длинной белой бородой и усами. Я ей не завидую. Мама меня учила, что зависть - плохая черта. Но я не могу с собой ничего поделать, когда дело касается отца Верки. Он, слесарь и красный партизан, всегда носит косоворотку защитного цвета и скрипит своими начищенными остроносыми сапогами. А мой папа занимается козявками и букашками (взрослые называют его трудным словом "энтомолог"). Я папу очень люблю, но зачем он носит ненавистные мне белые рубашки и галстуки?! Чтобы отучить его от них, я однажды испачкала ему галстук томатным соусом. Когда мама бранила его за пятно, меня ужасно мучило чувство вины. Да и все равно соус не помог: папа на следующий день одел другой галстук. Я же пообещала себе больше не трогать его вещей.

Ночью выпал первый пушистый снежок. Робкое зимнее солнце совсем не греет, но в классах тепло. Мы с Раей давно перестали ходить за "коровками" - мы сами их делаем. Для этого мы ощипываем ворсинки с наших шарфиков и свитеров. Получаются мохнатые комочки. Эти "коровки" всевозможной окраски. Среди них даже есть редкие цвета - нежно-фиалковый и телесный. Чудесные "коровки", просто загляденье!

Нашему примеру последовали и другие девочки. Теперь мы все дружно ощипываем одежду и обмениваемся шерсткой.

Школа мне все больше нравится. Совсем было бы хорошо, если бы не второклассники. Они продолжают дразниться, дергать наших девчонок за волосы и даже бьют мальчиков, - ясно, когда нет Борьки. "Мордобой" всегда вступает с ними в рукопашную и дерется он не на жизнь, а на смерть. После схватки он, иногда немного помятый, победно ходит перед ребятами, играя кулаками, и щеки у него рдеют под цвет волос. Его боится даже Сенька. Борькин авторитет в школе неоспорим. За защиту чести нашего класса я ему уже давно простила, что он прошлым летом разбил мне в кровь подбородок. Верка

же охраняет только Жанну, которая ей за услуги щедро отплачивает подачками.

- На, откуси, - протягивает она пирожок или медовую коврижку.

Никто из детей не приносит в школу подобных лакомств, так как мука - тоже дефицит. У Жанны бывают даже апельсины. Она чистит их намеренно медленно и небрежно, хвастливо роняя корочки на пол. Девочки их моментально расхватывают. Но не Рая: Рая - гордая. А вот Аллочка, которая старается всегда быть незаметной, жадным немигающим взглядом следит за руками обладательницы невиданного богатства. Она скромная. Ей никогда ничего не перепадает.

- Возьми, понюхай, - тычет Жанна снисходительно ей в ладошку оранжевую корочку. И та, как зачарованная, с закрытыми от наслаждения глазами вдыхает аромат редкого южного фрукта.

Мне почему-то немного стыдно и за Жанну, и за Аллочку. Несмотря на это, меня охватывает непреодолимое желание тоже чем-то поразить девочек. Дома я прошу:

- Могу я завтра взять в школу апельсинку?

Мама достала "по блату" несколько штук. Что такое "блат", мне не совсем понятно. Скорее всего - это какие-то магические талоны, по которым дают дефицит, решаю я.

- Ни в коем случае, - мамины светлые глаза становятся серьезными, и морщинка ложится между бровей. - Запомни, доченька, раз и навсегда: никогда не ешь при других, если не можешь угостить.

... Уже весна по утрам расстилает белые пуховики тумана; отзвучали звонкие ручейки, уносившие наши бумажные лодочки; земля набухает, дышит и все больше молодеет.

Мы работаем в палисаднике. У нас - посевная кампания. На свежей травке под кустом бузины навалены наши ранцы и пальтишки...

А назавтра - печальная новость: Мария Яковлевна вся какая-то почерневшая, с отрешенным тяжелым лицом и набухшими веками входит в класс и, натужно охнув, грузно плюхается на стул.



Моя школа - бывшая женская гимназия. Фотография 1908 - 1909 гг.

- Дети, - говорит она, - вчера в саду кто-то из вас вытащил у меня портмоне. Там были деньги и документы. Очень важные документы. Кто это сделал, пусть отдаст их мне. Я не заявлю в милицию... - После паузы она продолжает срывающимся голосом: - Мне очень горько... ведь я всю жизнь отдала вам, дети... А теперь, когда я покидаю школу... мне так невыносимо больно...

Она замолкает, а тем, кто на первых партах, видно, как у нее из-под очков капают слезы.

Класс замер. Слышно, как пролетает муха. Мне безумно жалко Марию Яковлевну. О, я теперь знаю, как можно угробить учительницу.

На следующий день вор все же подбросил Марии Яковлевне во двор портмоне с документами, но без денег...

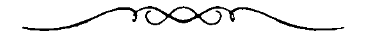
В мелькании флагов прошумели первомайские торжества. Уже каштаны повыставляли свои стройные белые свечи. Незаметно подошел последний день учебного года. Детвора, одетая по-праздничному, шалит, смеется и бегает по двору. Я с другими школьницами стою у входа в здание. На мне новое шелковое кашне, коричневое в голубую полоску. Девочки его разглядывают и расхваливают. Вот появляется и наш "Боксер"; ее тоже заинтересовала моя обновка. Поиграв с кисточками и разделив их надвое, она зажимает их в кулаки и... вдруг ни с того ни с сего как дернет... Материя затрещала, а у меня от ужаса по коже забегали мурашки.

- Зачем ты это сделала? - ошарашенно спрашивают все.

- Затем... - отвечает Верка, вызывающе вздернув подбородок и подло улыбаясь. Она заговаривает с Раей и Аллочкой. Но мои подружки от нее отворачиваются. Она подходит к Жанне - та ей не отвечает. Наша всегда боевая Верка в панике мечется между нами, наталкиваясь на общую враждебность. Она конфузится и, жалко втянув голову в плечи, проходит, словно сквозь строй, между рядами девочек, провожающих ее недружелюбными взглядами до самой двери.

Мне очень досадно из-за разорванного кашне, но я стараюсь о нем не думать в такой торжественный день. Ведь все же за этот год случилось много хорошего: успешно окончен пер-

вый класс, и даже Мария Яковлевна смогла дотянуть до пенсии. Осенью, во втором классе, я буду сидеть за одной партой с Раей и... сразу вырасту - меня уже никто не назовет желторотой.





СИНЕЕ ЯИЧКО

Еще не так давно я кружилась на сцене в белой тюлевой пачке и короне, усыпанной блестками, с девочками-снежинками или порхала с бирюзовыми усиками в волосах под слова песни: "Где гнутся над озером лозы... Играют и пляшут стрекозы, веселый ведут хоровод..." И вдруг руководительница самодеятельности, крашеная блондинка, заявляет мне с наставническим придыханием, но и с участием в голосе:

- Ты, Женечка, в балет не подойдешь. Займись пока лучше чем-то другим.

- "Не подойдешь" - почему? - мучает меня, пораженную, как громом, вопрос. А рыжий насмешливый Борька сразу определяет с издевкой:

- Тяжелая артиллерия.

Поборов боль обиды, я гневно кричу прямо в его наглую рожу:

- Рыжий, рыжий, краснокожий, на собачий хвост похожий?

- Тяжелая артиллерия, - повторяет он нарочито громко и ржет во все горло.

Искра недружелюбия открыто пробегает между нами.

Когда я в тот день иду домой со своими подружками, меня больше не радуют ни солнце, щедро швыряющее свои лучи с неба, ни шуршащее под ногами золото осени.

- Ты не бери завтраков в школу и через месяц будешь опять в балете, - чистосердечно советует Рая, искренне переживая мою неудачу.

- Легко сказать! Но мама и Мавра, наша домработница, не выпустят меня из дома без завтрака.

- Ты бери и отдавай мне, - мудро советует всегда голодная Аллочка (да и все теперь жалуются, что трудно стало доставать продукты). - А пока будешь худеть, сочини что-то для газеты о наступающих Октябрьских торжествах, - ведь всем девочкам нравятся твои стихи, которые ты им пишешь в альбомы.

Дома я с отчаянной решительностью сажусь за хитросплетения рифм. К исходу недели у меня из-под пера выходят следующие строки:

"Солнце багрово всходило седьмого,
Свет проливая на Зимний дворец..."

Там есть и "буржуи - остатки былого" и теряющий "свой венец" царь, и другие образы в духе времени. Наша новая учительница Лидия Ильинишна расхваливает меня взахлеб. Стихотворение появляется в классной стенной газете, которую своим кудрявеньким почерком, напоминающим ее локончики, всегда аккуратно переписывает Рая. Его почти одновременно помещают и в школьной газете - неслыханное всеобщее признание. Итак, из балерины я превращаюсь в поэтессу, чем восстанавливаю свое пошатнувшееся реноме.

Происходят и два других значительных события: мы приобретаем собственный дом, и на моей белой блузке ярко запылал кумачовый галстук, пришедший на смену пятиконечной звездочке октябренка, - меня приняли в пионеры.

Наступает страшная голодная весна 1933 года. У крестьян при обысках было насильно забрано правительством не только все зерно, но и посевные запасы, включая бобовые и корнеплоды. Как только сошел снег и подсохли дороги, сельские жители стали покидать свою с дедов и прадедов родную землю. Эти несчастные надеялись в городах как-то перебиться подаянием, а те, кто посильнее, - заработать на пропитание. Город не может прокормить всех пришельцев, и истощенные люди падают на улицах и умирают. По разным подсчетам, только на Украине тогда погибло от 7 до 15 миллионов человек. Многие историки утверждают, что этот голод был создан

преднамеренно правительством, что это был результат последовательной политики Сталина, его месть крестьянству, проявившему непокорность при проведении коллективизации. Крестьяне, кормильцы страны, все идут и идут в города с одичавшими лицами и с отчаянием в глазах. Затуманенный голодом рассудок больше не управляет действиями человека. Появляются даже случаи людоедства. Поэтому меня, пополневшую за последнее время, постоянно кто-либо из семьи водит в школу и забирает после занятий домой. Только лишь к концу 1934 года продовольственное положение в стране улучшается.

* * *

Теперь меня окружает множество предметов красного цвета: плакаты, флажки, переходящее знамя в классе, ленинский уголок во Дворце пионеров.

В школе учат, что Бога нет. Влияние же родителей на меня менее значительно, так как я их редко вижу: оба они пропадают на работе. Им, как представителям советской интеллигенции, вменяются в обязанности различные общественные нагрузки - от чтения лекций рабочим на производстве до участия в борьбе с неграмотностью. Да если бы у них и было время, сомневаюсь, чтобы они решились на рискованный разговор о религии, преследуемой властями.

Маленькая Аллочка, состоящая из одних острых углов, с удивительным мужеством сносит насмешливые придирки пионервожатого из-за постоянных посещений церкви. Мне жаль подружку. Я стараюсь уговорить ее ходить со мной - хоть для отвода глаз - на антирелигиозные собрания, но тщетно.

А на этих собраниях очень интересно: из химического кабинета приносят какие-то кристаллы и порошки. В колбах, пробирках и ретортах их подогревают. В стеклянный сосуд сливают бесцветные жидкости, и смесь становится красной, голубой или белой, как молоко. Дети с восторгом созерцают эти "чудеса", которые (по словам учителя) духовенство использует для распространения религиозного дурмана.

Наш вожатый - ученик восьмого класса Володя Мурзило, белобрысый, стриженный под машинку. Соученики считают его безнадежным тупицей, но он принимает активное участие

во всех школьных мероприятиях. Заносчивый и хвастливый, на собраниях он рассказывает, как перевоспитывает своих родителей, набитых "пережитками прошлого", как сжег дома икону Богородицы, а в пасхальное тесто налил керосин.

Внезапно вся моя жизнь изменяется. Мама тяжело заболела, ее положили в больницу. К нам приезжает дедушка, ее отец. В доме появляется икона. Это - изображение Христа в позолоченной, местами потемневшей рамке. Перед ней теплится лампадка. Когда тусклый огонек мигает, по лицу Спасителя пробегают тени, отчего оно кажется живым.

Дедушка часто и истово молится за здравие больной дочери. С седой бородой и горящими верой глазами, он и сам похож на святого. В такие минуты я хожу на цыпочках, не смея ему мешать.

Маме становится хуже. Хотя мне об этом не говорят, но я все вижу и чувствую. Сестры милосердия меня к ней не пускают. Они мне объясняют: "Мама спит, ее нельзя беспокоить", - и обещают передать, когда проснется, поздние астры и хризантемы, с такой любовью выбранные мною в саду. Но в их взглядах я улавливаю сочувствие и тревогу.

Дедушка продолжает усиленно молиться, часто повторяя: "Боже, спаси мне дочь". Я прислушиваюсь к его горячему шепоту, и слезы текут у меня по щекам. Мне вспоминаются голубые, добрые глаза мамы, ее мягкие, ласковые руки, ее светлая улыбка. Однажды, при мысли, что я могу потерять ее, меня охватывает такое отчаяние, что я неожиданно для себя самой произношу:

- Боже, спаси мне маму.

Это - моя первая молитва.

В ту страшную ночь у больной был кризис. Утром температура падает, и мама приходит в себя после шести суток беспамятства. Через неделю очень ослабелая она возвращается домой, а дедушка остается у нас еще на некоторое время.

Моя жизнь опять входит в привычную колею. Но все же где-то глубоко во мне совершается какой-то невидимый душевный переворот. Я больше не уговариваю Аллочку не ходить в церковь и засыпаю дедушку вопросами о том, как было при ца-

ре, что такое Рождество, Крещение, Пасха. Как раньше проводили эти праздники верующие? Дедушка отвечает мне серьезно, подробно, стараясь объяснить так, чтобы я поняла и запомнила. После каждого разговора с ним я чувствую подъем, словно испила воды из хрустально чистого родника. Передо мной возникает другой мир. Он - золотисто-голубой, переливающийся красками неба и икон. И этот мир никак не может совместиться с тем, другим, школьным, красным.

Приближается Пасха. Я вместе с дедушкой занимаюсь приготовлениями к празднику. Так как специальных красок для яиц в продаже нет, мы снимаем шелуху с лука, варим ее, и получается коричневая жидкость. Вместо желтой краски мы берем таблетки от малярии - акрихин.

- А вместо синей, зеленой и красной, - предлагает дедушка, - возьмем чернила.

- Нет, красной не нужно, - неожиданно возражаю я.

Дедушка пристально, с удивлением смотрит на меня.

- Хорошо, красной не нужно, - соглашается он без расспросов. И я ему благодарна за это.

Накануне Пасхи я прошу его:

- Дедушка, возьми меня с собой в церковь.

- Хорошо, возьму, - и в его глазах появляются искорки признательности.

Мы идем ко всенощной в беззвучную, пропитанную весенней испариной ночь. В окнах на уснувших улицах то там, то здесь тлеют огоньки. Изредка попадаются прохожие. Вот и церковь, старая, обветшалая, словно придавленная к земле тяжелыми куполами. Высокие ясени, еще не успевшие одеться листвой, сонно шумят вокруг. Ворота открыты. Вымощенная кирпичом дорожка ведет к распахнутой настежь двери, через которую льется волшебный свет. Когда я первый раз в жизни трепетно переступаю этот таинственный порог, незнакомое мне возвышенное чувство захлестывает меня. Слаженно и стройно поет хор. Какое-то удивительное спокойствие и легкость оттесняют все земное; я становлюсь как бы невесомой. Мне кажется, что еще мгновение и я отделюсь от земли и поднимусь вместе с голосами хора и дымком ладана под своды церкви. И так про-

должается всю службу. Потом мы выходим во двор для освящения принесенных с собой яств.

Священник, обрюзглый старичок, как бы потраченный молью, с дребезжащим голосом, бодро вышагивает среди прихожан и кропит пасхальную снедь. И вот, когда он с поднятой рукой останавливается возле нас, мне показалось, что я увидела под упругими лапами сосны стриженую голову Володьки Мурзилы. (Он часто хвалился, что иногда ходит в праздники в церковь "выслеживать пионеров", наводя этим ужас на всех, кто бывает там). Священник уже удалился, и я с беспокойством опять смотрю под сосну. Хотя там никого нет, настроение мое уже испорчено.

Вскоре я забываю о Мурзиле, а в понедельник беру в школу синее яичко для Аллочки, которая Пасху провела с родителями у бабушки в селе. Лишь только я успеваю отозвать подругу в дальний угол класса, передо мной, как из-под земли, вырастает Володька. Он коршуном налетает на меня:

- Ну-ка, покажи, что у тебя в руке! Нечего сказать, хороша пионерка. В церковь ходишь, куличи святишь; показывай, показывай, что у тебя в руке! - наступает он на меня.

- Нет, не покажу, - говорю я, обеими ладошками бережно обхватив яйцо. Вокруг нас толпятся любопытные.

- Покажи сейчас же! - уже почти рычит зарвавшийся Володька, упиваясь моим испугом.

- Уйди, - чуть слышно шепчу я, чувствуя, как ком остановился в горле и как быстро колотится сердце.

Некоторые ребята подсмеиваются и подначивают вожатого, другие явно сочувствуют мне. Каверзник-Володька, любящий многочисленную аудиторию, распаляется еще больше. Его грязные ногти вонзаются в мою руку, нос вспотел от натуги. Я сопротивляюсь. Только тогда, когда под моими пальцами захрустело яйцо и скорлупа разрезала мне кожу, я раскрываю ладони и бросаю в искаженное торжеством, ненавистное лицо раздавленное яйцо. Недоваренный желток пристает к бритой голове Володьки. Дети хохочут, а я, доведенная до отчаяния, заливаюсь слезами и выбегаю в коридор. За мной следует Аллочка.

На следующем пионерском сборе совершается казнь: мне дают выговор с предупреждением, о чем я дома не говорю ни слова, а, наоборот, прошу дедушку взять меня опять в церковь.

К сожалению, в храм Божий мне доводится войти уже через много лет после смерти дедушки, во время войны, в другом городе, так как наша церковь была закрыта вскоре после памятной Пасхи.



ПАХНЕТ ПОРОХОМ

Моя полнота оказалась только временной. Я начинаю расти, как на дрожжах, и худеть. На физкультуре, в строю, где мы стоим по стойке "смирно", я подвигаюсь быстро, как по мановению волшебной палочки, с левого фланга, низкорослых, на правый. Мавра по поводу подобного феномена красочно замечает:

- Та ж нашу дивчыну, добри люды, як з воды прэ.

Теперь меня начинают замечать взрослые мужчины: студенты института, когда я прохожу мимо их общежития, свистят мне вдогонку, а бесшабашные солдаты, шатающиеся группами по главной улице, разухабисто подкашливают и восклицают:

- Глянь на ее буфера!

Даже Борис стал относиться ко мне совсем иначе. Он, зарекомендовавший себя знатоком женской красоты, причисляет меня к самым видным девочкам и это подтверждает стихами:

"Три грации вдруг появились в нашем классе:
Раиса Плаксина, Евгения и Ася".

Междоусобиц между нами - как не бывало.

В студеный зимний день я выхожу с опозданием из школы. Меня кто-то окликает. Это - Борис, приближающийся ко мне в мелькании снега. Я ожидаю его, дрожа от холода.

- Пойдешь со мной на новогодний маскарад? - предлагает он, неловко улыбаясь.

- Какой у тебя костюм?

- Я буду Русланом, а ты Людмилой. Согласна?

- Согласна, - отвечаю я, и мне становится теплее.

Мы идем по раскатанной полозьями дороге. Вокруг нас стоит морозная хрупкая тишина, и снежинки медленно, задумчиво опускаются нам под ноги.

* * *

Наша семья переезжает в более крупный областной город на Днепре.

В последних классах десятилетки я крепко сдружилась с Таней Левицкой. Вместе мы ходим к кино, катаемся на лыжах и коротаем летний досуг, переплывая на лодке реку. Нас неизменно сопровождает моя немецкая овчарка Дельта. Там на берегу на припеке мы загораем на чистом, вымытом весенним разливом песке. Ветвистые ивы подступают к нам плотным строем и, продуваемые ветром, ласково шумят. Мы чувствуем в себе неисчерпаемую силу молодости, непонятное горение в крови и жадную любовь к жизни. Под мирный плеск волн подруги делятся тайнами своего сердца и наивными мечтами о будущем женихе и муже.

У нас уже есть смелые планы, относящиеся к дальнейшей жизни. Таня решила стать хирургом. Глядя на ее неторопливые, крупные руки, каждый уверен, что она сделает блестящую карьеру на этом поприще. Я же, отдавая предпочтение изящной словесности, собираюсь поступить на филологический факультет, в альма матер моих родителей, Киевский университет. Отрадно чувствовать, что нам улыбается издали светлое будущее.

Десятый класс... Выпускной вечер назначен вскоре после экзаменов. С каким волнением подкрашиваются первый раз в жизни - с разрешения школьного начальства - губы, с какой тщательностью укладываются волосы, с каким восхищением рассматриваются наряды одноклассниц!

Но разговоры на этом вечере почему-то не соответствуют праздничному настроению:

- Мой брат не приехал на наш вечер, так как у них сейчас не дают отпусков, - грустно говорит сестра военного летчика.

- А моего отца переводят под Ровно, - объявляет дочь майора.

- Каждый день идут эшелоны с оружием на запад, - замечает сын железнодорожника.

- Вспомните мои слова - будет война!.. - выпалил кто-то и замолчал, смутившись от неодобрительных взглядов.

Будто подул в лицо тревожный ветер, и у меня защемило в груди от смутного предчувствия беды.

* * *

Киев, перемигивающийся огоньками, принимает нас с Таней гостеприимно. Но в общем городском шуме везде отчетливо звучит военный обертон, доминирует защитный цвет. Кажется, что рядом с обычной жизнью течет на больших скоростях какая-то другая, неизвестная нам жизнь.

Утром 22 июня, выйдя на улицу, мы почувствовали непонятную напряженность. Хотя, как всегда, спокойствием дышит голубое небо, как обычно, спешат по своим делам прохожие, но их лица выражают сосредоточенность и смутное беспокойство. Совсем не видно ни равнодушных, ни скучающих лиц.

- Что-то случилось? Стихийное бедствие? Грандиозное открытие? Смерть кого-то из вождей?.. - гадая, мы заворачиваем за угол и попадаем в толпу, собравшуюся под громкоговорителем.

Из него загудело, засвистело, и затем послышались слова:

"Граждане Советского Союза, - говорит Молотов, - советское правительство и его глава товарищ Сталин уполномочили меня сделать следующее заявление: сегодня, в 4 часа утра без предъявления каких-либо требований к Советскому Союзу, без объявления войны, немецкие войска напали на нашу страну..."

Мы сразу ощутили, что наша жизнь теперь пойдет както кувырком. Хочется кричать, куда-то бежать...

Воздушная тревога загоняет нас в подвал, где мы решаем забрать документы, уже поданные в университет, и оставить Киев.

Дома царит уныние: папу вызвали в военкомат... Поздно вечером при зашторенных окнах мы жадно слушаем радиопередачу из-за границы - немцы лавиной катятся на нас.

Вскоре отец прощается с нами. Крепкие объятия и пахнущий табаком поцелуй в голову, отчетливо прозвучавшие слова, обращенные ко мне: "Ты уже большая, заботься о маме..."

Ночью город утопает в темноте. Над ним в сизой мгле воют сирены, гулко перекликаются зенитки, перекрещиваются, словно шпаги, лезвия прожекторов, ловя блестящие силуэты самолетов...

Мои одноклассники в эти дни рассеялись. Юношей забрали в армию; некоторые разбежались от налетов по селам; другие эвакуировались...

Армия отступает. Красноармейцы идут пешком, изможденные, едва передвигая ноги, как загнанные кони, - усталые взгляды, припудренная, словно пеплом, одежда и тусклые лица. Их еда - затасканная в кармане краюха хлеба. Разве может такая армия защитить нас от расчетливого, отлично вооруженного врага?!

Дошло известие, подтвержденное очевидцами и потрясшее нас, - отец погиб. Это - первая большая потеря в моей жизни, мое первое тяжелое горе. Остаются только воспоминания о нем, о том, кто согрел мое детство и юность лаской и заботой...

Советская власть оставляет нас на произвол судьбы. Накануне по радио передали распоряжение: запасаться водой. Все бочки, ведра и посуда пошли в ход. В последнюю ночь перед отступлением слышатся взрывы: это уничтожают электростанцию, водокачку, фабрики, заводы и мосты через Днепр. Небо объято заревом пожаров.

На третий день после ухода Красной Армии по улицам уже фыркают мотоциклы, ревя на поворотах, победно и властно приглушенным баском гудят танки - город оккупирует чужая загадочно-беспощадная военщина.

К нам во двор вваливается целая орава немцев. Их всех мучит жажда. С настороженным любопытством мы наблюдаем, как они быстро опорожняют небольшой бочонок, стоящий на виду. Не удовлетворившись им, они уже без спросу начинают хозяйничать в доме, вынося во двор из всех тайников и тайничков наши неприкосновенные запасы воды, присоединив к ним несколько бутылок вина из погреба. Мы возмущены, но приходится прятаться за стену холодной вежливости. Вот один из солдат с лицом безволосым, как пятка, и орденской ленточкой наигрывает какую-то мелодию на моем рояле. Потом он роется в нотах и, вынув тоненькую тетрадку, рвет ее пополам. Меня берет оторопь, затем я подбегаю к нему, протестуя.

- Мендельсон - *ein Jude* (жид), - объясняет он, прибавляя непотребное слово, и его лицо искривляет пренебрежительная усмешка.

Солдаты уходят, оставляя после себя разбросанную по двору пустую посуду и разорванные ноты сочинений Мендельсона.

На небе расплавленным золотом полыхает солнце, и жара к полудню все усиливается. А воды нет. У соседей немцы тоже все выпили. Остается лишь одно: идти к Днепру. Нужно спешить: затишье временное, бои могут вспыхнуть каждую минуту. Мы, избегая солдат, прокрадываемся через сады и огороды к голубой глади реки, лениво вздыхающей от плеска волн. На противоположном берегу в дымчато-сизых зарослях ивняка несомненно прячутся советские тяжелые орудия, направленные на город.

Когда начинается огненное безумие артиллерии, мы находим на дальней окраине колодец. Жажда заставляет людей покидать бомбоубежища, пренебрегая смертельной опасностью. Моя соученица-пианистка, собиравшаяся поступать в консерваторию, была ранена осколком снаряда возле этого колодца и потеряла руку...





ПРОРУБЬ

Фронт, подмяв под себя правобережную Украину, придавил ее тяжестью брони и оглушительным грохотом орудий и хлынул неудержимо дальше на восток. Натужно гудящий ветер листает страницы истории и бередит душу. Живым напоминанием о жестоких боях остались воронки от бомб и снарядов, взорванные мосты, как бы поставленные на колени, и здания с вывороченными внутренностями.

Все мои планы о высшем образовании война развеяла, как дым.

Осень прошла. Набежали тучи, и снежинки деловито-настойчиво повалили с неба. Родилось розовое утро в белой рубашке. Первый девственный снег как бы обновляет город, частично скрыв под собой его глубокие, безобразные раны. Если бы не встречающиеся на улицах немецкие солдаты, самоуверенно щеголяющие своими гулкими сапогами, и мчащиеся по шоссе машины, порой казалось бы, что все недавние кошмары - ночной бред. Но подобное впечатление - лишь внешнее. На самом деле жизнь жителей города, напуганных и подавленных вражеским нашествием, проходит под постоянным террором. Кажется, что даже стены домов пропитаны страхом и подозрением. Победители очищают город от евреев, а дальше начинаются аресты всех неблагонадежных элементов: коммунистов, комсомольцев и украинских националистов. По ночам идут расстрелы. Народ оказывает сопротивление: в лесах появились партизаны.

Ранним морозным утром к нам в дом вбегает мамина сестра Оксана. На ней нет лица. К ней жмутся двое малолетних детишек. Моя тетя, до сих пор легко несущая свои годы, сразу постарела, щеки осунулись, глаза покраснели и опухли.

- Полиция увела в тюрьму Федора (ее мужа), - сообщила она.

Мама, всегда энергичная и рассудительная, принимает горячее участие в ее горе. На семейном совете мы решаем, что я, владеющая немецким, должна пойти с Оксаной к коменданту.

Комендатура находится на окраине города, возле станции. Еще в те времена, когда фронт проходил по реке, первый комендант выбрал для своего учреждения это более безопасное от артиллерийского огня противника место. Редкие дома там разбросаны по полю, слегка холмистому в белой кипени сугробов. Над ними серебристая мгла. Перед одноэтажным зданием ходит дюжий, с лицом в брызгах веснушек часовой. Из комнаты с надписью "Людвиг Ренн, комендант" выскочил молодой очкастый солдатик с бумагами в руке и скрылся в конце коридора. Мы успеваем заметить внутри за столом офицера, разговаривающего по телефону. Когда его резкий авторитетный голос умолк, я несмело стучусь в дверь.

- *Herein* - войдите!

Мы - в уютном кабинете. Офицер, наклонившись, что-то пишет. Виден только его нос и прямые волосы, лоснящиеся от бриллиантина.

- По одной, - недружелюбно бросает он, не отрываясь от своего занятия.

- Мы вместе, - отвечаю я, опешив.

- По одной, - уже рявкает немец. - Другая в коридор! Марш!

С замутневшими от влаги глазами, полными печали, Оксана выходит.

- Я... пришла хлопотать... за дядю, - говорю сбивчиво, - он в тюрьме.

- Кто его арестовал?

- Полиция.

- Так что вам нужно от меня? - Идите в свою полицию.

Вспомнив с невыносимой жалостью огромные испуганные глаза моей двоюродной сестренки Лили и мокрый носик братишки Тодика, я, набравшись духу, прошу его в отчаянии:

- Херр комендант, вы - хозяин города. От вас зависит судьба моего дяди. У него жена и двое детей. Пожалуйста, херр

комендант, помогите нам. Ведь в тюрьме идут расстрелы, по 150 человек за ночь... - Я запнулась, чувствуя, что сказала лишнее.

Немец, отложив ручку, поднялся с кресла и неторопливо подошел ко мне. Это - высокий и довольно стройный мужчина средних лет с длинным лицом и маленьким, почти женским ртом, совершенно не гармонирующим с его громогласным голосом. Он грубо приподнимает мой подбородок и с любопытством разглядывает меня, как букашку на ладони. Меня смутил изучающий взгляд его серых и холодных глаз, которые сильно косят. Из-за его косоглазия трудно определить, в поле зрения которого глаза находится рассматриваемый им объект. И это делает его похожим на циклопа.

- Хорошо, - наконец говорит комендант, - ваш дядя не будет расстрелян.

- Вы его выпустите?

- Не сейчас, но выпущу. А пока в тюрьме его не тронут.

Дав все данные о Федоре, я благодарю немца, удивляясь, как легко изменяются каноны во время войны и с ними судьбы людей.

- Но... - слышу я, - услуга за услугу. - Серый глаз моего собеседника наполняется хитрецой, - вы должны будете преподавать мне русский язык, скажем, два раза в неделю.

Радость, что моя миссия окончилась успешно, омрачается этой новой обязанностью. Меня заарканили.

* * *

В ясное воскресенье - первый урок. В бюро стрекочет пишущая машинка: очкарик-переводчик что-то усердно печатает.

- Похвально, очень похвально, что наш комендант изучает ваш язык, - говорит он по-русски, но с сильным акцентом. - У него в Восточном министерстве большие связи - большое будущее.

Он ведет меня в жилую часть дома к своему начальнику и почтительно удаляется. Это небольшая спальня, пропитанная запахом табака и одеколона. Комендант Ренн радушно улыбается мне. Горит камин, потрескивая угольками. Среди сбор-

ной мебели выделяется никелированная кровать. Роскошная пальма в вазоне, сейчас пронизанная солнечными лучами, стоит возле окна. Эта интимная обстановка настораживает меня. На ночном столике возле кровати привлекают внимание фотографии: длиннолицая женщина в шляпе и два мальчугана с такими же признаками "лошадиного" семейства в формах "гитлерюгенд".

- Моя семья, - гордо заявляет комендант. Эти снимки дают мне как бы некоторую гарантию неприкосновенности - я с майором не совсем одна.

Комендант оказался внимательным учеником и бесстрашно произносит русские слова с могучим акцентом, кромсая и распиная безжалостно русскую речь. В конце урока он спрашивает:

- Вы знакомы с немецкими писателями и поэтами?

- Мы некоторых изучали в школе и даже на память декламировали стихи Гейне и Гете.

- Генрих Гейне *"ist ein Jude"* - жид, - замечает он. - А Иоганн Вольфганг Гете - гений. - Он лихо, как с кафедры, декламирует несколько четверостиший поэта и восклицает восхищенно:

- Вот это действительно талант!

- Как у нас Пушкин.

- Конечно, каждая нация имеет своих выдающихся людей, а в Германии их целая плеяда в каждой отрасли.

И он перечисляет имена ученых, литераторов и художников, при этом еще больше вдохновляясь.

- Я сейчас солдат и должен подчиняться приказам, но в гражданской жизни я юрист, а главное, носитель культуры самой передовой из наций. Я горжусь тем, что я немец...

Вскоре его монолог иссяк, и он переходит к *l'ame slave mysterieuse* (загадочной славянской душе), протягивая мне коробочку:

- Жена прислала на Рождество коржики. Угощайтесь.

В то время, как я беру кондитерский "шедевр" фрау Ренн, ее муж придвигается ко мне совсем близко. Его рука уже на моем колене, а серый стальной глаз внезапно теплеет. Я, словно ища помощи, устремляю взгляд на фотографию немки,

и мне даже кажется, что фрау прищурила неодобрительно глаза.

- Мне уже пора, - говорю я, поднимаясь со стула.

Добросовестность в работе и пунктуальность являются неотъемлемыми чертами характера майора и ни в коем случае не разрешают ему включить изучение русского языка в служебное время. Поэтому мои уроки назначаются среди дня по воскресеньям и по средам после работы. Так как ходить по улицам с наступлением довольно раннего комендантского часа гражданскому населению не разрешается, меня привозят домой на машине Ренна, что мне совсем не по душе наряду с приставанием коменданта, теперь называющего меня "котенком" и "либхен".

Недалеко от нас живет разведенная "фольксдойче" (местная немка) Герта, работающая медсестрой с моей матерью. Эта броская, интересная блондинка, одержимая любопытством, имеет склонность к сплетням.

- Ну, как комендант? - однажды спрашивает она меня при встрече.

- Комендант... ничего.

- Он интересный мужчина, не правда ли? А он нежный любовник?

- Не знаю, - сухо отвечаю я. - Я только его учительница.

- Говори, говори, - ехидно ухмыляется Герта. - Ты большую рыбку себе поймала.

Я уверена, что ее грязные домыслы обо мне и коменданте вскоре распространятся по всему городу: мои подруги, соученики и учителя осудят меня априори, и я, краснея от одной этой мысли, хожу угрюмая и подавленная. Моя чуткая мама замечает во мне перемену. В ее глазах появляется беспокойство.

- Дорогая моя девочка, я вижу - тебя что-то угнетает. Давай поговорим.

- Нет, ничего. Мне просто нездоровится, - отнекиваюсь я.

Моя мать, прямолинейная, моральная, справедливая, узнав правду, могла бы пойти к коменданту защищать честь своей дочери. К чему бы это привело? Я не хочу брать на свою

совесть убийство Федора, поэтому все бремя создавшегося положения принимаю на себя, скрывая свои эмоции молча. Подчас чувство обреченности охватывает меня, как будто я попала в прорубь, - выбиваясь из сил, хватаешься еще за ее края, но лед ломается, крошится, и знаешь, что не удержишься и скоро пойдешь ко дну.

* * *

Комендант Ренн продолжает играть со мной, как кот с мышкой. Теперь мои SOS, направленные к его фрау - моему якорю спасения - мало действуют, и мне приходится в критические минуты брать в руки одну из фотографий и каким-либо наивным вопросом напоминать майору о его семье. Я не понимаю его игры. Ведь он, всесильный хозяин города, мог бы поставить мне прямое требование или заставить силой покориться его воле. Почему он этого не делает? Может быть, считая себя культурным и гуманным человеком, не желает прибегнуть к насилию... Или не хочет перепугать грубым поведением неопытную девушку, стараясь ее приручить к себе?.. Если вначале у меня к нему в сердце было чувство благодарности за то, что он заступился за Федора, сейчас я ненавижу его всеми фибрами души и в мыслях не называю иначе, как "циклоп". Рано или поздно отношения между нами должны испортиться. Придет время и его не остановит ни Шиллер, ни Вагнер, ни мой отчаянный зов о помощи к его супруге. Поэтому я спешу выяснить положение:

- Херр комендант, почему вы до сих пор держите в тюрьме моего дядю?

- Если я его выпущу, я потеряю мою учительницу - тебя, *Liebchen*, - улыбаясь, с наглым придыханием в голосе отвечает он.

- Дядиной семье очень трудно. Мама должна их содержать. Отпустите его. Я обещаю, что останусь вашей учительницей, - уверяю я его, сделав ударение на последнем слове.

* * *

Следующий урок - в воскресенье. Робкое зимнее солнце иногда выглядывает из-за низких снеговых туч, с которых

плавно спускаются, колыхаясь в безветренном воздухе, большие снежинки, напоминающие собой цветы табака. Порой неожиданный порыв ветра легко подхватывает хлопья, кружа их в каком-то сказочном балетном танце. Белесые поля виднеются вдали.

Сегодня у коменданта повышенный тонус. От него изрядно несет спиртным перегаром. Он налил две рюмки коньяку и предлагает одну из них мне.

- Я не пью.

- Сегодня мой день рождения, - мы не будем заниматься, - объявляет он. - Притом, у меня хорошая новость для тебя, *Kätzchen*: я распорядился, чтобы на этой неделе выпустили твоего дядю.

В этот день комендант, видимо, ожидает платы за свою услугу. Он не теряет важности, но суетится, его глаз необычно блестит и хищно останавливается на мне. С ночного столика исчезли фотографии его благоверной и "гитлеровской молодежи". На их месте стоит поднос с бутылкой коньяку и двумя рюмками. Меня объял страх. Несмотря на отсутствие артистического таланта, необходимость заставляет меня играть трудную роль - я решаю споить коменданта.

Ренн протягивает мне опять полную рюмку.

- Выпьем за ваше здоровье, - говорю я развязно и немного отпиваю огненной жидкости. Мой взгляд останавливается на пальме у окна. Я быстро придвигаюсь к ней и, когда комендант отворачивается, выплескиваю напиток в вазон. За первой рюмкой следует вторая, третья...

Тем временем майор строит планы на следующее воскресенье:

- Теперь мы с тобой, *Liebchen*, будем развлекаться вместе. - Он приглашен "гебитскомиссаром" кататься на тройке и собирается взять меня с собой. (На тройке по городу, - мороз пробегает у меня по коже. - Вот верный путь стать мишенью для партизан).

- На днях мои *Kameraden* устраивают пирушку... - разглагольствует он.

Майор продолжает наполнять рюмки. Сам он пьет, а я при каждом удобном случае поливаю обреченную на белую го-

рячку пальму и делаю вид, что хмелею. Мой же гостеприимный хозяин, утопая в пьяном словоизвержении, вскоре валится на кровать уже не в состоянии совершать любовные подвиги. Я потихоньку выхожу, мысленно прося у пальмы прощения за покушение на ее жизнь.

Дома я застаю маму и Герту.

- Как сегодня твой ученик? - прищуривает она насмешливо глаза.

Молча я бегу в свою комнату. Глубина моего отчаяния доходит до предела. Нервы не выдерживают, и я, упав на постель, буквально утопаю в слезах. Хотя сегодня я сыграла свою роль отлично, но через два дня я должна опять идти на ненавистный урок к человеку с беспокойными руками и липким взглядом. Нет, мне не вылезти из этой проруби.

Мать ласково дотронулась до моего плеча.

- Что случилось? Это комендант, правда?... Он докучает тебе? Да? - допытывается она.

Усталая беспомощность всецело овладевает мной. Я ей все рассказываю. Мама старается утешить меня, но в ее глазах видна тревога. Она долго сидит за столом, обхватив голову руками. Наконец обращается ко мне:

- Послушай, доченька, мне кажется, я нашла выход из положения. Этот выход банальный, пошлый, но у нас нет выбора. - Мама оказалась мудрой, как царь Соломон.

В среду утром тетя Оксана относит в комендатуру от меня записку с извинением, что я по болезни не смогу быть на уроке. В ней - приписка: "Буду рада, если Вы меня посетите вечером".

Когда заходит майор Ренн, у нас за накрытым столом сидит в полной "боевой раскраске" приглашенная мамой Герта. Знакомясь, она лихо вздергивает подбородок и щедро одаряет немецкого офицера обаятельной улыбкой. То и дело сверкают ряды ее жемчужных зубов и звонкий смех рассыпается по всему дому. Я, бледная, в халате, возвращаюсь в постель. Гости у нас засиделись, и майор предлагает отвезти на своей машине Герту домой. - Так он получил новую учительницу русского языка и более сговорчивую компаньонку.

Утром я встречаю Герту в городе. Она целует меня в щеку, игриво подмигнув. На ней - моя пуховая беленькая шапочка, которая ей уже давно нравилась и которую она получила в награду от нас.

К полудню приходит из тюрьмы со своей тощей и ветхой котомкой Федор. На его изможденном лице землистого цвета скользит гримаса пережитого страдания. В волосах появилось изрядное количество серебристых нитей. Он с ужасом вспоминает тюремную камеру, где десятки людей спят впритирку и где всегда стоит нестерпимый дух. Каратели ночью нарочито шумно врывались к заключенным, суматошно поднимая людей с нар, и издевательски медленно читали списки тех, кто подлежал в эту ночь расстрелу.

* * *

Как-то раз я знакомлюсь на улице с двумя иностранцами. У меня выпал платочек из сумки, а один из них, такой интересный, светлоглазый и светлокудрый, сразу подскочил, поднял платочек и, расшаркиваясь, как джентльмен, заговорил со мной по-польски.

Об этой встрече я рассказала подруге Тане.

- Я слыхала, что в город приехало множество поляков, - замечает она. - Они работают в немецкой военной фирме Организации Тодт. Ну и что сказал твой красавчик-паладин?

- Наговорил мне кучу комплиментов и хотел домой проводить, но я отказалась.

- И правильно сделала. Плохие времена! Зачем тебе иностранцы - сегодня они здесь, в завтра уедут. А ты переживать будешь, страдать.

Несмотря на войну, молодежь упорно отстаивает свои права на развлечения. Вот и у соседей Якуниных собралась небольшая компания. Ляля вовсю барабанит на пианино, несколько пар танцует. Меня у двери подхватили сильные мужские руки и закружили в быстром вальсе. Горячее дыхание обжигает мне ухо.

- Мы с вами уже встречались. Помните - на улице?.. Мое имя - Георгий (Жорж), - говорит он полушепотом.

Я смотрю снизу вверх, так как он почти на голову выше меня. На крупных, красиво очерченных губах вспыхнула улыбка - блеснули ровной полоской безукоризненные белые зубы; серые глаза глядят внимательно и ласково, непокорная прядь волос упала на лоб. Он быстрым привычным движением руки отбрасывает ее назад.

Не раз думала я о нем после нашей случайной встречи. "Зачем тебе иностранцы", - вспоминаются мне слова Тани. Но я не послушалась предостережения подруги и весь вечер протанцевала только с Георгием, за его широкими плечами, как за каменной стеной, чувствуя себя защищенно и уютно.

Он - из Кракова, инженер по специальности, успевший окончить институт как раз перед войной, а теперь мобилизованный на работы.

Только в полночь мы выходим от Якуниных. Прощаясь у калитки, Георгий рывком привлек меня к себе, и я, объятая волнением, ощутила на своих губах властный поцелуй.

В этот вечер я безудержно и бесповоротно влюбилась. Весь мир как-то сразу становится необычайным и заманчивым, как будто сама богиня Ирида разукрасила его всеми цветами радуги.

Вскоре я уже осознаю, что больше не буду в силах исключить Жоржа из своей жизни. У нас - взаимная любовь с первого взгляда.

* * *

Понадобилось долгое время, чтобы, передвинув тяжелый рычаг исторических событий, остановить кровавый фронт, грозно катящийся на восток, и заставить его двинуться вспять. Опять хлынул поток беженцев, на этот раз из восточных областей. Обезумевшие от жестоких канонад и бомбежек люди покидают насиженные места, надеясь в тылу найти убежище. Среди них есть те, кому уже достаточно насолила советская власть, и те, кто перед ней чем-либо провинился в дни оккупации. Некоторым удается попасть на поезд, другие идут пешком, рассчитывая в пути пристроиться на какой-нибудь транспорт. По дорогам тянутся бесконечные обозы. Не тысячи - миллионы становятся в эти дни кочевниками.

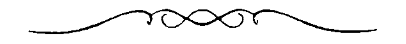
Мое сердце ноет от неизвестности и боязни будущего. Фирма Георгия, с которым я все эти месяцы продолжала встречаться, собирается эвакуироваться. Нам угрожает разлука, может быть, навсегда. Что принесет завтрашний день?..

Мы становимся беженцами. Наш состав состоит из платформ с заводскими машинами, нескольких товарных вагонов и двух пассажирских. В них едет наша Организация Тодт с польскими рабочими и беженцами из нашего города, к которому подкатился фронт. К месту назначения - Брест-Литовску - поезд направляют окольным путем через Львов, Краков и Варшаву, так как в районе Ковеля активно действуют партизаны.

В золотой метели осени мы прибываем в Брест. Где-то далеко позади остались земля, вздыбленная войной, и небо, под которым я родилась и выросла, подруги, друзья и знакомые. В беженской неблагоустроенной жизни, которую скорее можно назвать серым безутешным прозябанием, только лишь Жорж является для меня светлым лучом радости и надежды. Каждый вечер он меня ожидает у подъезда - такой веселый, заботливый, аккуратный. Без него, кажется, мне бы не вынести разлуки с отчизной. И вот мое знакомство с ним, наши романтические отношения, продолжавшиеся полтора года, завершаются браком. И хотя из-за войны нам еще грозит разлука, но мы уже соединены крепкими узами.

Неумолимый шквал боевых действий забрасывает нас с Георгием в отдаленный уголок Италии - в солнечную долину Тосканы, спускающуюся к Тирренскому морю. С другой стороны то величественно вздымаются, то опадают горы. Это - Апеннины.

Но и эту живописную долину не пощадила война: день и ночь над ней кружат самолеты, трещат зенитки, содрогается земля от взрывов, скрежещет сталь. А нам с Георгием, влюбленным друг в друга, несмотря ни на что, счастье постоянно дарит свою лучезарную улыбку.





АЛЫЕ МАКИ

Уже больше года мы в Италии. Кочуем по этой прекрасной стране, как цыгане. Лишь появится изменение в линии фронта или разбомбят союзники важный военный объект, нашу фирму немедленно перебрасывают туда для восстановления моста, железной или шоссейной дороги. Вот и сейчас мы с Георгием сидим в кабине грузовика с кузовом, крытым брезентом. Такие машины используются вермахтом для перевозки солдат. С нами же только один немец-водитель, а из кузова иногда долетает бойкая польская речь. Там - рабочие нашей строительной фирмы, так называемой "Организации Тодт" (сокращенно О.Т.). Эти ветераны немецкой неволи пользуются в Италии большой свободой: у них документы отобраны - не каждый смельчак решится искушать судьбу, пускаясь в побег.

Едем осторожно - из-за налетов авиации. Местное население жестами предупреждает об опасности; на безлюдных дорогах часто останавливаемся и прислушиваемся. А вокруг - виноградники и артишоковые поля. Колорит ландшафта дополняет цветущий дикий мак. Ох уж эти алые маки, они навсегда врезались в мою память.

Я смотрю на Георгия - он статный, широкоплечий, лихо выбились светлые кудри из-под пилотки. Почувствовав мой взгляд, он поворачивается. Улыбка раздвигает его губы, сверкают ровные зубы. Боже, как я его люблю! За ним последовала бы не только в Италию, но и на край света. Он мне весело подмигивает, даже не подозревая, какой важный разговор предстоит между нами. Вот бывают же такие обстоятельства в жизни, о которых трудно поведать самому близкому человеку, мужу. А именно: я... беременна. Об этом я уже пробовала ему намекнуть, но он не понял. Как он отнесется к подобной новости?

- мучает меня мысль. Детей Жорж любит, берет их на руки, возится с ними и всегда говорит:

- После войны обязательно обзаведемся несколькими такими бутузами.

- А сейчас? - спросила я его как-то.

- Сейчас мы живем на колесах - как тут растить ребятишек... Не время!

- Ну, а если... вдруг?.. - настаивала я.

- Это была бы трагедия, может быть, даже разлука, - его слова пронзили меня острой болью. Его лицо стало серьезным, голос - печальным: - Фирме нужны работники, она не будет возить за собой беременных женщин.

Баньи, то есть "Ванны", место нашего назначения, - курортный городок с серными водами. Большие населенные пункты бомбят, а в таком захолустье, где даже нет железной дороги, - мир и безопасность. Поэтому и облюбовали его пришельцы с севера. Здесь в фешенебельных отелях и виллах, где блеск и роскошь, разместилось немецкое военное начальство.

Еще пылает величественный и торжественный закат, когда мы въезжаем в город. На улицах - бедлам: полно народу. Возле ресторанов на тротуар выставлены столики, за ними сидят офицеры, лучась знаками отличия и наградами. Здесь бравурные марши и томная звенящая музыка. Вилла "Стелла" занята начальством О.Т. У всех немцев из этой организации желто-горчичные мундиры. Наш грузовик направляется к школе, где его встречает бойкий складный парень с ямочкой на подбородке и орлиным носом. Просунув голову в кабину, он называет себя: Роберто. Поляки, отсидевшие себе за дорогу ноги, выпрыгивают из кузова с руглüвой воркотней. Они, в отличие от своих шефов, напоминают жуков в черном, не всегда пошитом по размеру обмундировании.

- Я покажу вам, где спать, - говорит Роберто на ломаном русском. - Давай! Давай! Вы поможете мне.

На мой удивленный вопрос, где он учил русский язык, отвечает:

- Я был в России больше года. - Узнав, что я тоже оттуда, он, просияв, бросает Георгию безапелляционно: - Вы и синьора "русса" остановитесь у моей "ции" (тетки). Для женщины

здесь нет удобств. "Ция" Лея будет рада, а то немцы все равно заберут комнату. Мы к ней вас отведем. Мы с Бьянкой, - указывает он жестом на стоящую у двери синьорину в пестром ситчике, с родинкой на щечке и тоненькой талией. Потом он с взъерошенными патлами носится по двору с поляками, таская из-под навеса матрацы. Всякий раз, когда он пробегает мимо девушки, их взгляды, скрестившись, вспыхивают искорками, как при коротком замыкании, и он без нужды незаметно задевает ее руку. Любовь!

- Это ваш жених? - спрашиваю я Бьянку, когда в теплых сиреневых сумерках мы направляемся к месту нашего ночлега.

- Да, мой жених. В конце следующего месяца у нас свадьба, - потупляется она смущенно и опускает мохнатые ресницы.

А Роберто на мои расспросы о России проникновенно повествует:

- При первом наступлении на Сталинград я был связистом в разведке. Меня ранило осколком снаряда. Я потерял сознание. Наши солдаты не заметили, ушли. Очнулся я в хатенке русских стариков. Они отхаживали меня, как родного сына. И все сокрушались, что не могут дать больше хлебушка: у самих нет. Я у них пробыл месяца четыре. Вы знаете эти места за Донбассом? - спрашивает он меня.

- Нет, там не бывала.

- Бескрайние просторы, конца не видать, - широко проводит он рукой, изображая степное раздолье, и для вящей убедительности даже свистит. - Представьте: единственная деревушка в заснеженной степи, а стариков хата поодаль... Потом я к своим попал. Деда Евсея и бабку Устину никогда не забуду. Спасли мне жизнь эти добрые люди. Война окончится - я им целый вагон хлебушка повезу. Наедятся вдоволь, - обещает он пылко, со своим итальянским темпераментом.

"Ция" Лея, скорбная вдовица во всем черном, принимает нас с ласковым доброжелательством. Нежно расцеловав своего племянника, она приглашает:

- *Prego, avanti* (пожалуйста, заходите).

У нас с Жоржем есть тайна, убийственно опасная. Если бы о ней дознались военные власти, нам бы не избежать кон-

центрационного лагеря. Это - радио, и мы слушаем Москву. Хотя советские, как и немецкие, сводки бессовестно нашпигованы ложью и дезинформацией, но, приводя их к общему знаменателю, мы, точно неутомимые старатели, добываем из них золотые крупицы правды. Мой повышенный интерес к известиям с восточного фронта объясняется тем, что у меня в Польше осталась мама, единственный человек из нашей семьи, которого я еще не потеряла. Она совсем одна. Хотя наш шляхетный, щеголеватый хозяин пан Мазовецкий обещал мне опекать ее, но у него самого ограниченные возможности. Письма от мамы приходят нерегулярно. В них - постоянные напоминания о приближающемся фронте.

Только удостоверившись, что тетя Лея спит, мы в определенный час включаем радио. Сегодня интересующие меня сообщения кратки: "На Брест-Литовском направлении наши войска вытеснили противника из нескольких населенных пунктов". Я тотчас пишу маме письмо, убеждая в необходимости того, от чего раньше отговаривала: ехать в Германию, где каторжный труд, бомбежки и недоедание. "Дорогая моя, - взываю я к ней, - езжай, иначе мы навсегда потеряем друг друга".

Ночью просыпаюсь как бы от неожиданного удара, не просыпаюсь, а скорее вырываюсь из вязкого кошмара. В этом кромешном аду - ни видений, ни лиц, темно и страшно, лишь какие-то импульсы интуиции, подсказывающие мне, что с мамой стряслась беда. В панике я бужу Жоржа. Он, еще не совсем проснувшись, старается убедить меня, что сны ничего не значат и не могут значить, приводит логичные доводы. Потом он долго держит меня в объятиях, прижимаясь своей щекой к моей, и я ощущаю ровное успокоительное биение его сердца. А за окном - темная бездна ночи. Мерцают звезды, кажется, они шевелятся, подобно светлячкам, а кругом заливаются дружным стрекотом цикады.

* * *

Зарегистрировавшись в фирме, мы с Георгием возвращаемся домой.

- Главный инженер объявил, - говорит он, - что мы с приехавшей этой ночью группой поляков должны будем укреп-

лять какой-то старинный мост, еще времен Римской империи. Опять ночная работа из-за налетов...

- День какой прекрасный. Давай пройдемся вон на ту горку, - предлагаю я.

Мы поднимаемся по крутому бугристому косогору к макушке холма, где, как казацкий оселедец, торчит пучком густой лесок. Вверху на полянке останавливаемся перевести дыхание. Отсюда открывается чудесная панорама: вздымаются и опадают холмы, внизу золотится город, а вокруг - запах прогретых солнцем, сочных трав, в которых так и тянет поваляться. И везде алые маки, будто рубины на зеленом бархате, иногда сливающиеся в сплошные россыпи.

Жорж срывает самый большой цветок и, приколов его мне в волосы, долго не спускает с меня глаз.

- Какая ты у меня красивая, - восхищается он.

- Какая я у тебя... беременная, - само собой вырывается у меня то, что постоянно на уме. Но в данный момент я не подготовлена к столь серьезному разговору. В полном замешательстве я впиваюсь в лицо Жоржа неотрывным взглядом. Что ожидать от него? Одобрения, досады... Глаза его не соврут. Какую отец даст путевку в жизнь своему первенцу?

Сначала он глядит на меня, словно не поняв, что я сказала, и вот... в серых глазах всплеск радости - отеческое благословение.

- Я боялась тебе раньше сказать, - говорю я кротко и виновато.

А он уже поднял меня, точно ребенка, закружился со мной и, не опуская на землю, целует в шею, щеки, губы. И меня захлестывает волна нежности к нему.

Потом мы возвращаемся по той же дороге, держась крепко за руки.

- Что будет если я не смогу работать? - волнуюсь я.

- Все как-то устроится. Найдем выход. Все как-то устроится, - повторяет он, и я ему беспредельно верю.

Мы подружились с Бьянкой и Роберто. От Роберто мы узнаем, что его брат-военный, перейдя на сторону маршала Бадольо, попал в плен к немцам.

- Фашисты не простили моим родителям этой "измены Муссолини". Они уволили моего отца с государственной службы. Проклятые бандиты!..

У Бьянки застенчивость и скованность в общении со мной проходят, она шутит и переливчато смеется. Перед свадьбой она не ходит, а парит в облаках, в ее как бы струящихся движениях чувствуется скрытое любование собой.

- Я рано осталась сиротой, - щебечет она. - Меня воспитала бабушка. Если она умрет, у меня останется только Роберто. О! Я сделаю его самым счастливым человеком в мире.. А ты и Джорджио... вы придете на мою свадьбу?

- Обязательно придем, - уверяю я.

К нам иногда присоединяется скорбная вдовушка. Сизо дымятся наши чашки с кофе-эрзацем, и "циа" Лея нас поучает:

- Мой Джузеппе не вернулся с фронта в Первую мировую войну. Я так и осталась одна, хоть и были у меня поклонники. У женщины должен быть в жизни только один мужчина.

Уже давно от мамы нет вестей. Я горюю и теряюсь в догадках.

Между тем, в городе происходят значительные перемены. Как-то, идя на работу, замечаю на улицах множество военных. Под прикрытием густых деревьев везде нагромождены вкривь и вкось машины и танки. На огромном палаццо на окраине красуется всесильная надпись "бешлагнамт" (реквизировано) - должно быть сюда только что вселился еще один военный штаб. В парке возле здания и в прилегающем леске под пиниями тоже солдаты и орудия. Птицы, возмущаясь столь наглым вторжением в их царство, гневно перекликаются и хлопают крыльями. Понятно, теперь по только что укрепленному мосту пойдет переброска свежих частей на фронт...

Вечером нежданно-негаданно в небе вспыхивают, зычно лопаясь, ракеты, и в непроницаемой темноте слышится громкий, уверенный рокот моторов. Затем... резкий, холодящий душу свист летящего металла. Оглушительные взрывы сопровождаются вспышками, словно зарницами. Вскоре над палаццо появляется все увеличивающаяся, дрожащая огненная корона за-

рева. Несмотря на бомбежку, немцы продолжают подтягивать к городу все новые подразделения.

Над моей горемычной головой тоже разрывается бомба: из Польши, наконец, приходит письмо. Незнакомый крупный, почти детский почерк, но по-стариковски неровный и шаткий. Отправитель... - моя мать.

"Меня ранило в голову и контузило, - пишет она. - Ночью, только прозвучала сирена тревоги, мы, четыре человека, собрались у входа в подвал. Я почему-то очень волновалась, и пан Мазовецкий, стоящий напротив, протянул мне несколько папирос. Вот тогда и раздался страшный грохот. Меня рвануло и бросило на землю. Падая, помню, я еще успела мысленно попрощаться с тобой и... потеряла сознание. Очнулась я в больнице. От пани Зоси (соседки) узнала, что пан Мазовецкий погиб. У него на теле не оказалось ни царапины: он был убит наповал волной воздуха. Так и нашли его с папиросами в руке. Хотя моя голова уже почти зажила, я все еще хожу на костылях: ноги пухнут. Мне представляется возможность скорого выезда в Баварию. Предусмотрительный пан Мазовецкий (царство ему небесное) пристроил меня к группе беженцев..."

Дата маминого ранения совпадала с нашей первой ночью в Баньях, с ночью моего кошмара. Как же после этого не верить в телепатию?..

* * *

Дальше события разворачиваются с головокружительной быстротой.

В первый же вечер, когда Жоржу не нужно идти на ночную работу, мы приглашаем наших итальянских друзей.

- У меня уже готово свадебное платье, - заговорщицким шепотом сообщает мне Бьянка.

Но Роберто ведет себя как-то странно. Он нервничает, отвечает невпопад, сидит как на углях и вскоре прощается.

В полночь под нашим окном останавливается машина, слышен топот ног, бряцание оружия... Солдаты?! Они гуськом бегут к "нашему", как мы его с Жоржем называем, холму. Что бы это значило? Нашей улицей, находящейся на отшибе, власти пока не интересовались. Проходит несколько минут - и вдруг

выстрел, другой, а затем тишину южной ночи прошивает гулкая пулеметная очередь.

Едва солнце взошло, к нам без стука врывается "ция" Лея. Она в невменяемом состоянии.

- Убили моего ненаглядного племянника Роберто! Убили варвары! Его только что привезли. Возле церкви он... - кричит она, истерически хватаясь узловатыми руками за голову.

Как холодом вздувает у меня волосы, мы выбегаем на улицу. Он лежит на носилках мертвенно бледный, со спокойным лицом, на которое сквозь листву падают солнечные блики. Темная окровавленная рубашка расстегнута...

Из-за угла появляется Бьянка. Бедняжка, она еще не успела сознанием принять свое страшное горе. Девушка как бы изумленно приглядывается к Роберто, падает перед ним на колени и, комкая, гладит ладонями его намокшую от крови рубашку. Женщины в голос воют вокруг.

- Ты плачь, легче будет, - советую я Бьянке, смотря в ее окаменевшее лицо, и сама заливаюсь слезами. Она же, словно загипнотизированная, продолжает смотреть в одну точку, и никто не может постичь глубину ее скорби и разомкнуть ее душу и язык.

Когда я позже прихожу к ним, дряхлая бабушка, утирая фартуком лицо, жалостливо причитает:

- Увезли внучку в больницу в другой город. Как бы не помешалась: ничего не говорит, не видит...

А немцы рассказывают:

- Вчера из нашего автомобиля, ехавшего ночью в Баньи, заметили издали на холме пульсирующие световые сигналы. Ясно, передавалась кому-то информация. Когда к итальянцу подошли, он отстреливался... Это из-за него недавно бомбили город: он сообщил врагу о прибытии сюда новых военных частей.

Комендант, говорят, был недоволен, что парня не взяли живым: его бы заставили выдать своих сообщников...

Нас срочно перебрасывают на север. Когда я пакую вещи, заходит "ция" Лея. Как она сразу постарела!

- Теперь немцы стали подозрительными, - говорит она. - Ходят по домам с обысками. Вот они уже у соседей все проверяют, переворачивают - что-то ищут.

Я, наспех замотав в одежду радиоприемник, прошу помочь мне снести вниз чемоданы и, когда за мной заедут, передать, что я ожидаю в сквере напротив. Это миниатюрный зеленый островок с бетонными полукруглыми скамеечками. Отсюда я наблюдаю, как патруль заходит в наш дом. Боже! Как близко прошла опасность, думаю я о радио.

Баньи мы покидаем с тяжелым чувством невосполнимой утраты.



ПОСЛЕДНИЕ ДНИ

На берегах реки По весна звенит птичьими голосами, окутывая тополиные рощи нежными, пушистыми облаками листвы. Синее небо распахнуто настежь, воздух пропитан теплом и светом. Нашу фирму сюда перебросили временно из Тосканы до получения постоянного назначения. Ее рабочие-поляки и мой земляк Макар Иванович, занимавшиеся раньше строительством мостов, пока что ремонтируют за городом главную дорогу, пострадавшую от бомбежек. Живут они в церковном доме. А мы с Георгием устроились у бедных крестьян.

Наш хозяин Луиджи, сумрачный и нелюдимый человек, пропадает в это страдное время целые дни в поле. Скудное домашнее хозяйство ведет его жена Анита, женщина с варикозными венами и отвислой грудью. Она, теперь совсем замученная детьми, когда-то, рассказывают односельчане, была неутомимой плясуньей, но от прежних дней у нее только остались бездонные васильковые глаза.

Так как я нахожусь, как говорят, в интересном положении, милая Анита, перенесшая шесть беременностей, относится ко мне, совсем молодой и неопытной, с покровительством старшей сестры.

- Вот, Эвджения, возьми, - протягивает она пучок зелени.

- Так это же одуванчики, - распознаю я по листьям. - Они ведь ужасно горькие.

- Они к лету станут горькими. А теперь из них хороший салат - *radicchio*. В них витамины. Тебе это полезно.

- *Grazie*, - благодарю я ее.

Иногда Анита в кухне, где щебечет детвора и тявкает заблошивленная рыжая шавка Роза, угощает меня подслащенным, сизым от воды молоком, извиняясь, что у них корова-

яловка. Такое же "пойло" пьют и ее дети. Зато три чернорубашечника, живущие через дорогу, по утрам получают бутылку цельного парного молока. Это - Тони, высокий детина с волосатой грудью и лошадиными ноздрями, Умберто, кругленький, всегда чисто выбритый и даже красивый по-итальянски, и ничем не выдающийся Августино.

- Вам самим молока не хватает. Почему вы им не откажете? - спрашиваю.

- Разве им откажешь, - вздыхает хозяйка и безнадежно машет рукой.

- Как им не стыдно, - возмущаюсь я. - Давайте заявим в полицию. Я пойду с вами.

- О, нет! - на одутловатом лице синьоры появляется выражение страха. - У них вся власть. Им дай повод - они будут мстить.

И я должна ей пообещать, что не испорчу ее "добрососедских" отношений с наглыми фашистами.

Наше окно выходит на север. Лишь стемнеет, за ним слышатся шорохи благоухающего вечера, видны хороводы мерцающих звезд и иногда красные сполохи отдаленных взрывов. А днем расстилается, убегая вдаль, равнина с весенним буйством лугов и полей. Далеко за ней - где-то Альпы. Там в Баварии - моя мать. Она, раненная и контуженная при воздушном налете в Бресте, теперь работает врачом в больничном отделении для иностранцев. В последнем письме она пишет: "Мое состояние здоровья гораздо лучше. Рана зажила, ноги почти не отекают... У нас к самому городу на юге подступают горы. Смотрю на них и думаю о тебе. Там Италия. Там ты, моя дорогая девочка..." И я часто со щемящим чувством тоски смотрю на север, уверенная в том, что путем телепатии мама должна это почувствовать. Ах! Как я желаю, чтобы нашу фирму перевели поближе к ней.

Однажды мы с Георгием под вечер гуляем по берегу реки, которая вздулась от полноводья и блестит в лучах заката пылающим янтарем. Нам преграждает путь широкий ручей - мне его не одолеть. Жорж, перетянув тяжелый валун на середину течения и ловко подхватив меня под мышки, переносит на другую сторону. Я с нежностью смотрю на него и чувствую се-

бя любимой и счастливой. Сейчас его волосы от лучей солнца кажутся золотистыми. Но почему у него сегодня, всегда веселого и улыбчивого, между бровей легла морщинка? Вскоре я узнаю причину его озабоченности.

- Наша фирма получила новое назначение, - говорит он.

- Куда? - меня лихорадит от нетерпения.

- В Удине... - ошеломляет он известием. Эту часть Италии немцы боятся не меньше восточного фронта.

- Для женщины, да еще в твоем положении, туда ехать нельзя, - его глаза полны заботы и боли. - Я пока поеду один, так как не могу бросить фирму: мужчину без надлежащих документов сразу задержит полевая полиция. А женщину не будут особенно искать, я уверен в этом.

- Если я оставлю самовольно фирму, ты из-за меня можешь пострадать, - беспокоюсь я.

- Я что-либо придумаю в оправдание, а для тебя здесь найду безопасное место и вернусь, как только позволят обстоятельства.

- О нет... нет, не покидай меня... я поеду с тобой, - мой голос вибрирует от отчаяния.

То ли от взбудораженных нервов или же от того, что биологические процессы протекают своим чередом, происходит чудо: я внезапно впервые чувствую у себя под сердцем трепет новой жизни - наш еще неродившийся ребенок заявляет о себе, словно желая принять участие в важном семейном совете. Я восторженно сообщаю об этом Жоржу, и охватившее нас обоих волнение заставляет на время забыть все проблемы и невзгоды.

* * *

В долине реки По теперь конгломерат национальностей. Кроме итальянцев, здесь находятся также привезенные на работы французы, голландцы, русские и поляки. Везде, конечно, немецкие солдаты. Одни, из потрепанных в боях частей, идут на переформирование, а другие еще бодрые, уверовавшие в свою особую миссию, направляются на фронт. Их автомобили и орудия стоят под деревьями. Они же, сидя на траве, играют в карты, пьют шнапс и горланят песни. Днем дороги почти

пусты из-за опасности с воздуха. Но только наступят сумерки, везде слышится рычание машин - под прикрытием ночи каждый старается достичь своей цели.

Как-то раз я застаю соседей-чернорубашечников во дворе. Умберто, надуваясь от важности, как лягушка, тычет нашему хозяину под нос какую-то бумажку и кричит:

- Это приказ немецкого коменданта!

А Тони лихо по-петушиному бежит к сараю. Луиджи, совсем малограмотный, конечно, не понимает текста записки и тупо повторяет:

- *O! Dio mio!..* В чем моя вина?.. У меня голодные *bambini.*

Анита замерла в испуге с беззвучно открытым ртом. Дети прижимаются к матери и громко хнычут. Я узнаю в чем дело: у хозяев забирают корову.

Тони уже тянет ретиво из хлева буренку. Но тут вдруг вся семья, как по команде, рванулась, крича и голося, к своей кормилице на выручку. Роза, бегая вокруг, заливается злым лаем. Тони выхватывает из кармана наган... Неизвестно чем бы окончилось это состязание неравных сил, если бы не мое вмешательство. Я, подскочив к Умберто, вырываю из его рук бумагу, которая оказалась фальшивкой, и сажусь на велосипед, чтобы ехать с жалобой в мэрию города. Парни, разъяренные неудачей, ретируются несолоно хлебавши.

С Макаром Ивановичем, поселившимся на сеновале, мы иногда отводим душу на солнышке под скирдой соломы. Тональность наших разговоров: родные, дом, прошлое. Учитель рассказывает о своем аресте в 1937 году. Из тюрьмы он был освобожден немцами, которые его сразу взяли на работу. Он даже не успел повидаться с семьей, а теперь между ними фронт.

- Моя дочь уже барышня, - заявляет он гордо, показывая (в который раз!) фотографию своей хрупкой благообразной жены и глазастой девчонки-подростка, и его печальное блеклое лицо расцветает в светлой улыбке. А я читаю ему письма моей матери.

В середине апреля Жорж, весь сияя, сообщает:

- Вместо Удине наша фирма получила другое назначение: мы переезжаем в итальянский Тироль, на границу с Австрией. Нам не грозит больше разлука.

А быть может наша радость преждевременна?..

* * *

Еще недавно где-то в Апеннинах шли бои, а здесь (в долине По) был устойчивый, хотя и не совсем безопасный, тыл, и немцы с должным торжеством и помпой праздновали день рождения своего фюрера. Но вот линия фронта как-то сразу подалась, выгнулась, прорвалась, и весь этот благодатный край пришел в паническое движение. Первыми срываются с места чернорубашечники, боясь расправы союзников и гнева народного. Немцы уже не отступают, а беспорядочно бегут на север. Для них Бреннерский перевал сияет издали как спасительная путеводная звезда: там говорят на их языке, там - родная земля. Что будет дальше - никто не думает. И мы опять в дороге.

В нашем крытом брезентом грузовичке три немца в кабине, а в кузове, где я с Жоржем, польские рабочие. Среди них Макар Иванович.

Через реку Адиче мы переправляемся ночью. Темно и сыро. Паром битком набит. Люди впритык, в темноте колеблются живые тени. Волны плещутся о борт, словно скорбно причитают. А над нами, в исполосованном прожекторами небе, парят светящиеся ракеты и слышится гул самолетов. Это, конечно, не немецкие "Штукки" или "Мессершмидты". Немецкая авиация больше не существует. Нас на пароме очень легко взять на прицел. Все молчат. Нервы напряжены до предела, точно у обреченных на плаху. Кто-то шевелит губами в беззвучной молитве. Меня бьет дрожь...

Прекрасную Верону, город Ромео и Джульетты, мы проезжаем сразу после налета, когда она еще надрывно гудит и звенит, как разбитая драгоценная амфора. Ветер повсюду разносит запах гари. Вблизи колизея на тротуарах валяется военная обувь и плитки шоколада - идет грабеж складов вермахта. Уже редеют сумерки, когда мы выезжаем на равнину, где царит настоящее светопредставление. Здесь несколько дорог сливают-

ся в одну, которая не в состоянии уместить всего движения. И люди, и машины прут неудержимым бесконечным потоком по обочинам, по нивам и лугам, вытоптанным дотла и напоминающим воронками от бомб лунный ландшафт. Только полевая жандармерия еще действует, проверяя документы и безуспешно стараясь навести порядок. И мы, прямо не участвующие в военных действиях, несемся по воле этой бурной стихии мимо танка с помятой броней, мимо белой лошади с вывернутым нутром и опрокинутой кареты Красного Креста. Многие солдаты идут пешим порядком, запыленные, усталые и злые, как волки. Их, трубя, обгоняет открытая легковая машина с офицерами и смазливой девушкой. Глаза воинов загораются ненавистью. Один из них, угрожающе потрясая винтовкой, кричит:

- Мы должны идти пешком, а они возят своих проституток на машинах!..

Наш грузовик, давно потеряв автоколонну фирмы, останавливается возле никудышного ресторанчика у самого предгорья. Во дворе стоят несколько подвод казаков с семьями. Ржут кони, плачут ребятишки. Кудрявый парень рассказывает их эпопею: они едут в Австрию из Удине, где понесли большие потери.

Жорж приносит откуда-то румяное душистое яблоко.

- Съешь его, чтобы у нашего малыша были такие же алые щечки, - он игриво бросает мне яблоко.

Мы после бессонной ночи устраиваем постель на сдвинутых столах. Ах, как неудобно! Мне навсегда запоминается этот момент: Георгий склонился надо мной, его лицо спокойно, прядь волос упала на лоб. Он смотрит мне прямо в глаза, прикасаясь рукой к моей щеке, и шепчет ласковым, умиротворяющим голосом:

- Я знаю, как тебе тяжело, дорогая. Потерпи. Скоро мы заживем нормально. У нас еще вся жизнь впереди. А ведь эту жизнь мы научились ценить...

Мне становится легко и уютно от его слов. Наша любовь - проверенная и закаленная в испытаниях.

- Все будет хорошо, - как эхо повторяю я и засыпаю безмятежно под его заверения о нашем светлом будущем.

А ночью мы опять плетемся по разбитым дорогам с заторами. С обеих сторон поднимаются величественные Альпы с гранитными утесами. Ни огонька, ни искорки - черные, угрюмые горы, заставляющие дорогу извиваться змеей и вилять то вправо, то влево. Они отступают, когда начинает светать, - мы уже едем по широкой долине... Вот тогда и налетела хищная стая истребителей. Зазвучали выстрелы наперехлест. Затрещала перекатами с земли зенитка

- Скорей падай на пол! - кричит Жорж и тянет меня за собой, держа крепко мою руку в своей. Я чувствую на затылке его прерывистое дыхание. С азартной взрывчатой силой строчат и ахают вверху пулеметные очереди. Как будто хлыстом стегнуло по кузову... Рука Жоржа как-то неестественно дрогнула и расслабилась. Мое подсознание мгновенно пронзил ужас. Тем временем машина, накренившись от внезапного толчка, остановилась.

- Жорж! Жорж! - оборачиваясь, испуганно зову его. - Жорж! Отвечай же... Что слу...

Слышен стон и голос Макара Ивановича:

- Меня ранило в плечо...

Темноту прорезает свет карманного фонарика. Жорж лежит на спине. Его глаза с недвижимыми, как бы глядящими сосредоточенно в одну точку, зрачками широко открыты. В исступлении хватаю его за руку. Я еще не совсем постигла разумом, что мое счастье в одно мгновение утеряно навсегда. Об этом говорит струйка крови из-под волос на лбу, страшная струйка. Она, как штрих, проведенный красным карандашом, перечеркнула мои надежды и радости и осиротила нашего неродившегося ребенка. Все еще ощущаю теплую руку любимого человека, стараясь уловить на себе его знакомый взгляд, пытаюсь закончить недосказанную фразу, но он не слышит... его уже нет со мной. Кругом пустота, все рушится... Он ушел, оставив меня одну в чужой стране. Он ушел, но память о нем навсегда останется со мной, как неприкосновенная святыня, и прошлое, появляясь перед моим мысленным взором, будет волновать и ранить душу...



НА ПЕРЕКРЕСТКЕ

Капитуляция Германии застала меня в Альпах итальянского Тироля, вблизи Бреннерского перевала, в селении, которое весело, даже лукаво глядит вниз на зеленую долину своими окнами, обрамленными, точно густыми ресницами, цветущей геранью. Со мной больше нет моего верного друга, мужа, защитника. Сердце исполнено неутешной скорбью. Оглушенная своим личным горем, я не способна вполне переживать радость того, что окончилась кровавая война, унесшая миллионы жизней. Окончилось это страшное и долгое бедствие.

Убедившись, что местная комендатура мало чем может помочь в моем переезде к матери в Баварию, я на собственный риск и с первым случайным автомобилем добираюсь до Больцано. Приближающийся комендантский час как бы надевает на город смирительную рубашку. Шум затихает. Передо мной вырастают двое дюжих военных полицейских в касках.

- Здесь вам нельзя оставаться, - категорически заявляют они и предлагают мне сесть в джип, куда взваливают мои чемоданы и, несмотря на то, что я яростно выражаю протест, везут меня в лагерь для немецких военнопленных.

- *Take it easy*, - хладнокровно говорит один из них. - Вы тут будете не на правах военнопленной, а только пару дней, так как вам некуда деться, тут же вам дадут кров и еду.

В этом лагере мне приходится быть свидетельницей раздоров и драк между немцами и временно находящимися здесь, как и я, поляками, отказа для всех в пропусках в город после побега эсэсовца и других событий.

В Больцано мне все же удается оформить документы на машину Красного Креста, которая направляется в Австрию. А оттуда я добираюсь нелегально до Германии в военном эшело-

не: американцы, вопреки запрету перевозить гражданских лиц через границу, сжалившись, берут меня с собой. Во французской зоне перед Инсбруком мои благодетели, чтобы избежать неприятностей при инспекции, заворачивают меня в военные одеяла - получается изрядный рулон, который закатывают под скамейку. Лишь тогда, когда "французская угроза" минует, я, как Клеопатра из ковра перед римлянами, появляюсь из одеял.

* * *

Мой первый лагерь "Ди-Пи"* - бывшие казармы вермахта в Кемптене, где я, легковерная, еще не зная о насильственных, кровавых репатриациях, попадаю в западню.

Когда я прошу советского офицера, к которому меня послали зарегистрироваться, поспособствовать моему скорому отъезду в Мюнхен, он невозмутимо изрекает:

- У вас есть родина, и вы отсюда поедете прямо на родину. А ваша мать потом приедет. Вы ей напишете с родины.

Те, кто носит на себе клеймо советского гражданина - самые несчастные люди. Их били и хлестали. И когда им улыбнулась надежда на лучшую жизнь и они думали, что неприглядное прошлое осталось навсегда позади, опять заработали, завертелись шестерни отечественной машины, настойчиво стараясь затянуть новые жертвы в свое жадное нутро.

Земля слухом полнится: американцы окружают танками беженские лагеря и пускают в них хозяйничать вооруженных "советчиков". Те силой тянут людей к грузовикам, обзывая их "изменниками" или "фашистскими мордами", и отправляют на родину, где этих несчастных ожидают жестокие репрессии. У советских военнопленных, над которыми все эти годы издевались немцы, та же участь: "отец" Сталин не велел сдаваться в плен. Плен - это измена. Браки с иностранцами тоже не признаются советской властью.

---

* Displaced persons - "перемещенные лица". Этот термин употреблялся союзниками по отношению к иностранцам, сорванным войной со своих родных мест.



Моя альма-матер - Мюнстерский университет. Главное административное здание.

Вот как выглядит Ялтинский договор в исполнении! Передо мной в воображении возникает Ялта моего детства, белокаменный сказочный город, который мог вызывать только радость в каждом сердце, всплески моря и стоны чаек... Как эти воспоминания отличаются от действительности. В волшебном городе был заключен бесчеловечный договор, ло которому теперь беззащитных людей выдают на мучения и разъединяют семьи.

Мне удается лишь хитростью и с помощью нескольких итальянцев, находящихся в лагере Кемптен, избежать репатриации. Они меня приписали к своей группе, а один из них, гример Джиджетто, употребляя свою профессиональную фантазию, изменяет мою внешность: в пылу азарта летят из-под ножниц, точно листья при буре, мои волосы, красятся ногти и лицо.

Наши итальянцы, которых пересылают с русским транспортом в другой лагерь, несут мои чемоданы к машинам. Я важно шествую за ними с детской коляской, являющейся для моей личности самой существенной частью камуфляжа. Прическа у меня - махровый "пудель", лицо - "под диву", цветы модного платья разлетаются на ветру в полном клеше, а туфельки лакированные с высокой пробковой подошвой - элегантное чудо итальянского обувного производства.

Моторы рокочут, и автоколонна трогается. Вышедший провожать ее советский офицер поднимает высоко руку, словно дает напутственное благословение тем, кого ожидают на отчизне тюрьмы и карательные лагеря Сибири. Он не узнал меня. В этот момент, когда итальянка Эвджения выезжает на грузовике за ворота, навсегда исчезает из лагеря Кемптен и ее советский двойник.

* * *

Чистенький баварский городок напоминает свеженамалеванную театральную декорацию. В нем и церковь с белой звонницей, и клумбы с цветами. А рядом река Изар, катящая свои холодные пенистые воды с альпийских взгорий.

В этом городке моя мать. Она появляется передо мной, подобно чудесному видению, в ореоле заметно поседевших во-

лос. И я, как когда-то в детстве, бросаюсь ей на грудь и ощущаю ее успокаивающее тепло, с самого младенчества дававшее мне уверенность в жизни. Нежная рука гладит мою овеянную чужими ветрами, пронесенную через бури и огонь голову. И я плачу в мамину блузку от счастья, как маленькая девочка: я нашла опять утерянный рай.

Бегут недели. Как-то раз я просыпаюсь с навязчивым ощущением тревоги. Все признаки близких родов налицо.

Мама на скорую руку делает какие-то приготовления. Вот в эти минуты особенно горько, что нет рядом со мной его, моего верного друга. Затем наступают моменты, когда я от пароксизмов ослепляющих болей даже не в состоянии ни о чем думать... И вдруг раздается громкий детский крик, которым новый человек заявляет о своем появлении на земле. Мне подносят мою девочку, всю в мальчишеском голубом одеянии, которое еще в Италии купил ее отец. Моя доченька такая маленькая и такая желанная. Я беру ее на руки и целую в пухленькую щечку.

Со временем атмосфера в американской зоне оккупации из-за репатриаций накаляется, и мы, спасаясь, уезжаем на север, где находим безопасное убежище у немецких крестьян в Эмсских болотах возле голландской границы. Сидим там, спрятавшись, точно зайцы в кустах, - тише воды, ниже травы. Это - серое прозябание, дни выжидания.

А на дворе осень, еще не успевшая отряхнуться и оправиться от ужасов Второй мировой войны. Осень нищая и зябкая, с дырявыми подошвами.

Но вот в газете появилось сообщение, что самый ближайший Мюнстерский университет объявил прием студентов.

- Иди учиться, ведь без профессии ты не сможешь дать своей дочери хорошее будущее, - настаивает убедительно мать. - Я так или иначе сейчас не у дел, посмотрю за девочкой, а там видно будет.

Итак, внезапно, как в мареве пустыни, возникает чудесный мираж оазиса, свежая струя воздуха проникает в наши болота.

В университете пока имеются только три факультета: теологический, которым я не интересуюсь, медицинский, кото-

рый мной не интересуется (какое разочарование для моей матери!): из-за перепроизводства врачей во время войны нет первого курса. Открыт факультет государственных наук с подразделениями экономики и юриспруденции.

Моя имматрикуляция не проходит гладко. Вначале я получаю следующего содержания ответ от оккупационных английских властей, сейчас стоящих во главе университета: "... к сожалению, вы не можете быть приняты, как "Ди-Пи"-студентка, так как советские граждане имеют родину, на которую должны возвратиться".

Но на свете не без добрых людей.

В Мюнстерском университете есть довольно много иностранцев, среди них 13 поляков. Они предлагают присоединиться к их группе, как самой близкой мне этнически, что я немедленно и делаю. Студенческое общежитие находится в Гревене, небольшом городке вблизи от Мюнстера.

Через несколько дней я опять захожу в деканат.

- Вы приняты, говорит мне немка-секретарша, просмотрев список, и немного насмешливо добавляет: - А у вас что ни неделя - новая национальность, - и подает мне студенческую книжку и билет. На них красуется надпись "D.P. (Polen)".

Становится светло и уютно на душе, словно у меня именины: я, наконец, студентка, и Мюнстерский университет - моя альма матер.

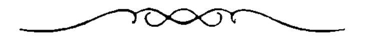
Меня поселяют в отеле "Неттман", реквизированном для иностранных студентов у немецкого владельца. Это трехэтажное здание у железнодорожной линии в рабочем поселке, прильнувшем плотно к зеленеющему на солнце сосновому леску. Я могу посещать маму и дочь, по которым очень тоскую, только по выходным дням из-за далекого расстояния.

* * *

Летят недели и шагают месяцы, идет семестр за семестром. Появляются новые лица в нашем общежитии. Среди них - Ия Нелль, поступившая в университет, когда открылся химический факультет. У этой сероглазой шатенки с задорно вскинутой вверх головой и ямочкой на одной щеке всегда уйма каких-то полезных проектов и планов: то по ее инициативе мы

отправляемся на экскурсии по всей Вестфалии, то берем в университете русские книги писателей, запрещенных в Советском Союзе. Ее отца, инженера, арестовали в 1937 году, и он исчез навсегда, а мать умерла в Гревене. Впервые в наше общежитие ее приводит красавица-медичка Владислава, приезжающая на лекции из более отдаленного украинского лагеря. Ия мне понравилась, и мы с ней становимся очень близки.

Сейчас отель "Неттман" представляет мир науки. По ночам в комнатах горит свет. Каждый зубрит свое. Утром в общую корзину для мусора выбрасываются листы, исписанные химическими формулами и непонятными латинскими словами.





У КОСТРА

Что-то первобытное, чарующее есть во внезапных веселых вспышках пламени, в потрескивании ярких угольков, в сизом легком пепле и горьковато-пряном дымке. Для меня костер - это уют и дружеские узы.

Отдых в лесу устроили нам, студентам, наши покровители-англичане. В этом поистине уникальном лагере ИМКА была собрана иностранная молодежь, обучающаяся в четырех немецких университетах британской зоны оккупации Германии: Боннском, Кельнском, Геттингенском и моем Мюнстерском.

Позади в городе осталось наше общежитие, недавно переименованное в "Менса Академика", обогреваемое буржуйками, с окнами, частично забитыми фанерой, и с заплывшим жиром хозяином Неттманом, живущим где-то над гаражом и пристающим к каждой студентке.

Сюда, в Зауэрланд, примчал нас автобус, именуемый всеми "дредноутом". Этот облупленный, дребезжащий, изрешеченный осколками бомб ветеран войны был специально отремонтирован для столь важного случая. Теперь он, значительно помолодевший, стоит под горой, на которой разбит лагерь.

Наша палатка находится возле пугливой толпы березок. В ней, кроме меня, - недавно появившаяся в студенческом общежитии Аля, некрасивая, с тяжелыми и часто мигающими веками полька, и две холеные белокурые, белозубые эстонки: Регина, моя сожительница по комнате, рослая строгая девица с учительским голосом, и стройная кокетливая Зельма с жадными к жизни, неугасимыми огоньками в широко распахнутых зеленых глазах. Наши соседки: Ия Нелль с тремя литовками.

В этом вавилонском смешении языков общим, всем доступным, стал немецкий. Мы распаковываем чемоданы под ди-

кие, сладострастные стоны патефона, доносящиеся из мужской половины, и разговариваем на актуальную, волнующую всех "перемещенных лиц" тему: недавно для нас открылись двери в Америку, Азию и Австралию. Регина со свойственной химику методичностью логично рассуждает:

- *Gewiss* (конечно), нужно всегда поставить себе цель и достигнуть ее. Я должна *здесь* завершить свое образование. Иначе уедешь в другую страну, а там, может быть, не окажется возможности окончить. Пословица говорит: синица в руке дороже сокола в небе. Сколько семестров тебе осталось? - обращается она к польке, с которой еще мало знакома.

- Мне - весь университетский курс. Я только что получила аттестат зрелости за гимназию.

- Только что?.. - удивляется Зельма, так как полька - самая старшая из нас.

- Война помешала. Да кому она не помешала?! - Аля отворачивается. Ее губы, слегка дрогнув, горестно поджимаются (от наших поляков я слышала, что ее родителей расстреляли Советы, а при немцах ее в тюрьме избивали за подпольную работу). Она продолжает: - Я уже подала документы на выезд - у меня сестра в Соединенных Штатах.

- А я вот еще совсем не знаю, как поступлю... - начинает щебетать Зельма. Всем известно, что она встречается с заносчивым, хлыщеватым немцем Хайнцем, и ее планы зависят от развития их отношений.

Регина не верит в серьезность намерений Хайнца. Она при упоминании о нем морщится и теряет хладнокровие.

- Знаешь, что такое верх самомнения? - как-то спросила она меня. - Это - комар, плывущий по реке, лежа на крылышках, с поднятыми вверх ногами и кричащий: "Разводите мосты!" Таким же ничтожеством представляется мне Хайнц.

Меня еще не успел пленить ни один бравый германец. Что же касается родственников, - у меня их нет в заокеанских экзотических странах. Но я всецело поддерживаю точку зрения Регины: диплом надо обязательно получить до отъезда в Америку или еще куда-нибудь.

Мы наслаждаемся привольной жизнью под сенью рощ и лесов, умываемся в студеном ручье и валяемся на траве.

Среди стройных елей сбегает вниз просека, образовывая природный амфитеатр с пнями вместо сидений и "сценой" - ровной поляной с буйным клевером и лазурными колокольчиками. Когда гаснет луч пурпурного заката, там устраивают первый костер. К нам через переводчика обращается майор Маккаррен из Красного Креста. Этот сухопарый, с военной выправкой пожилой человек с длинными, как клавиши, зубами очень доброжелателен и называет нас детьми. Он заканчивает свою длинную речь словами:

- С завтрашнего дня в нашем лагере начинается подготовка к олимпийским соревнованиям между университетами. Ваша обязанность, *my children,* - тренироваться, укреплять здоровье и набираться сил на следующий год.

Мы ощущаем необыкновенный подъем духа и от отечески заботливого тона этого милого добряка, и от того, что нам целый месяц предстоит провести на лоне природы. Мы молоды и полны энергии. Серьезные будущие адвокаты, врачи, экономисты и представители других интеллигентных профессий с ребяческим восторгом разучивают лозунги для вечерних сборов и поощрения команд при спортивных соревнованиях.

- ИМКА-ИВКА, хой-хой-хой! - неудержимо несутся наши возгласы в потемневшее небо.

Вечер заканчивается национальными гимнами. Эстонцы стоят под привезенным Региной бело-черно-голубым флагом. Русских же, кроме родившегося в Югославии Глеба Глазерова, скромного щупленького парнишки, у нас нет, если, конечно, не считать нескольких советских граждан, примкнувших под страхом репатриации к другим группам. Я, например, выдаю себя за польку. Наш Глеб не поет, да и что ему петь? "Боже, царя храни"? В лагере есть также немцы, приглашенные нами с целью добиться лучшего сосуществования, так как до сих пор в университете не искоренены нацистские настроения против иностранцев. Немцы вместо пения погружаются в минутное угрюмо-дружное молчание. У них отобрали гимн, у них отобрали флаг, - они проиграли войну.

Наутро струйки серебристого пара текут вдоль сверкающего ручья. Ключевая вода обжигает лица. У нас теперь царит культ физического оздоровления. Полным ходом идет



Летний лагерь ИМКА, в котором иностранные студенты 4-х немецких университетов английской зоны оккупации проводили свои летние каникулы.

подготовка к студенческой олимпиаде. Бассейн и тренировочные площадки невдалеке отсюда, в лесу. Весь лагерь, как угорелый, бегает, дико скачет, метает диски, подтягивается на трапециях и кувыркается. В глазах горит решимость победить!

Мы, уже закопченные солнцем, крепнем и хорошеем с каждым днем. У нас, проводящих целые дни на кристальночистом воздухе, благоухающем хвоей и чабрецом, развивается волчий аппетит. Да и какая разница в питании по сравнению с "Менса Академика"! Там наше меню состояло главным образом из брюквенных супов, постных каш и тощих хвостов селедки. Здесь же - часто мясо и даже десерт. А вареного картофеля, который мы сами в дни дежурства чистим, - вообще вволю. В столовой, огромном шатре с длинными столами, слышна задорная деловитая барабанная дробь ложек о тарелки. Жуем мы, млея от наслаждения. Сноровистая, пухленькая, кровь с молоком медичка Надя - из группы западных украинцев - нарвала в лесу дикого луку, мелко его порезала и носит полную тарелку этого дива, предлагая:

- *Nehmen Sie bitte, Kollege*, - возьмите! Аскорбиновая кислота! Витамины в натуральном виде!

Лук, посыпанный на горячий картофель, неистово распространяет вокруг аромат. Вот Надя уже возле нас сует свой "товар" под нос чубатому, тонколикому латышу в потрепанной рубахе, а он, хлопая своими близорукими глазами, отмахивается от нее, как от назойливой мухи. Он ей явно нравится.

- Да сядь уже наконец, - влеку я ее за руку на скамью между мной и Алей. - Странно, - говорю я. - Украина всегда славилась хорошими певцами и замечательными мелодиями, здесь же у вас не хор, а одно недоразумение.

- Ничего не поделаешь, - так случилось, что у одних слуха нет, у других голос отсутствует. Я их только и спасаю.

- Конечно, ты их только и спасаешь, - лицемерю я, так как у нее голос довольно неприятный, с завываниями, как у сельского дьячка.

А вообще Надя очень милая крестьянская девушка. Меткий ум и золотое сердце. Ее все любят за грубоватую доброжелательность. Она постоянно кого-то от чего-то врачует и вот даже взялась выходить шелудивого бездомного породисто-

го щенка, которого мы собираемся преподнести в подарок нашему Маккаррену.

После ужина у костра всегда устраиваются вечера самодеятельности. Затем - печальный звук горна, словно сожалеющего, что ушел безвозвратно еще один прекрасный день. Этот звук катится эхом по горам и замирает в далекой лесной чаще. Мы блаженно растягиваемся на постелях. Вокруг разливается умиротворяющее спокойствие, душа жаждет единения с Богом. К нам в палатку через ветви светит луна; будто в истоме, мерцают звезды. По этим звездам испокон веку мореплаватели определяли свой путь. И мнится, что наши палатки несутся по темному океану ночи. Шумят ели на ветру, словно морские волны. В какую гавань заплывут наши давно снявшиеся с якоря корабли?

Нас отвлекают от тренировок только экскурсии и поездки в ближайший город. Дорога ведет мимо советского представительства. Уже за несколько километров до него начинается суматоха. Глеба, всегда степенного и тактичного, не узнать. Возбужденный и покрасневший, он вихрем носится по автобусу, открывая настежь, даже в дождь, окна. Он, точно дирижер, задает тон. И когда мы подъезжаем к представительству наш "дредноут" грозно гремит, как многоглоточное чудовище:

- До-лой ком-му-низм! У-би-рай-тесь до-мой! Эс-Эс-Эс-Эр - тюрь-ма на-ро-дов!..

Почти все студенты знают русский язык. Остальные же скандируют по слуху. О, это не просто озорство! Это - могучий, искренний взрыв антисоветских настроений. Прибалтийцы еще не забыли аннексию их стран, поляки - 17 сентября 1939 года, западные украинцы не могут простить Советам "братского освобождения". А наши сербы-монархисты, воевавшие под командой полковника Драгомира Михайловича, ненавидят Советы и их ставленника Тито.

Лишь немцы, избегающие разговоров на воспламеняющие темы, не присоединяются к нам.

* * *

... Регина опять ставит везде "западни". Здесь требуется пояснение. Когда я вселилась к ней в общежитии, она возвела

"линию Мажино" из гофрированной жести, разделив комнату на "сферы влияния", а также, чтобы убедиться в моей честности, постоянно раскладывала приманки (деньги и папиросы, которые из-за инфляции стали эквивалентом марки).

- Регина, - обращаюсь я к ней строго, с упреком. - У тебя болезненное недоверие к людям. Зельма и я уже прошли твои "чистки", а теперь ты взялась за Алю. Как тебе не стыдно!

- Не кипятись. Что ж здесь такого, если я хотела проверить ее, - энергично оправдывается она.

После этого разговора ее отношение к нашей польке резко изменяется. Да и вообще во всем лагере наблюдается большое "потепление". Мы, такие разные люди с непохожим прошлым, не занятые теперь лекциями, часто ведем между собой беседы и дискуссии на разные темы, глубже узнаем друг друга и проникаемся обоюдным доверием и уважением.

В учебном году у нас не хватало также времени на романтические увлечения, а на лесном приволье удивительно быстро возникают влюбленные пары. Сближение идет в национальном и интернациональном масштабе. Из "смешанных" пар особую интенсивность чувств проявляет "польско-литовская уния" (так мы называем Гражину и Хенрика Каганца). Только вот у Нади ничего не получается. Она ходит за своим латышом по пятам с иглой и нитками, пытаясь от случая к случаю привести в надлежащий вид его пришедший в упадок гардероб. Ее глаза - озерца преданности. Но ее "предмет" без ума от Зельмы, которая его совсем не замечает.

Мы, иностранцы, задержавшиеся после войны на территории Германии, невольно живем бедами и радостями этой страны. Поэтому неудивительно, что денежная реформа, о которой уже давно ходили слухи и которая нас застает в лесу, в изоляции, действует на нас как взрыв бомбы. Ясно, теперь наступит экономическое оздоровление Германии, и вместе с тем будет заложен крепкий фундамент для развития экономики всей Европы. Как отразится на нас это событие, этот колоссальный сдвиг?

Когда наш филолог Мирон Ковальчук, ездивший куда-то в американскую зону, появляется в лагере, мы возбужденно засыпаем его вопросами. Он стоит, окруженный студентами, -

высокий, интересный, с пышной шевелюрой, - и охотно отвечает:

- Среди немцев - большое оживление. В городах открываются магазины. Наша "Менса" пока пустует. Пыль, грязь - идет ремонт. Я побывал в университете. Мы будем получать стипендию!

- Ура! Вот это здорово! - несутся возгласы. - От кого стипендия? Сколько?

- От университета. В месяц сто новых немецких марок. Условие - хорошая успеваемость. Мы должны будем сдавать каждый семестр экзамены.

Вот это действительно совсем ново, так как в немецких университетах с их академической свободой, где обязательным считается только посещение семинаров и лабораторий, никаких экзаменов от нас до сих пор не требовалось.

А Мирон, уже изменив тему, самозабвенно растолковывает группе сербов, что такое УПА (Украинская повстанческая армия). Он, заметив меня в толпе, как-то небрежно и холодно машет рукой. Когда полгода назад этот сероглазый галичанин с чудесным голосом появился в общежитии, он отнесся ко мне благосклонно. Мне же он даже понравился. Мне ли одной?.. Но вскоре наши отношения испортились. Он, ярый националист, мечтающий о создании Великой Украины, стал всячески изводить меня за мою принадлежность к польской группе.

- Пойми же, - старалась я его увещевать, - когда я поступала в университет, украинской и русской группы не существовало. Поляки меня гостеприимно приняли, помогли избежать репатриации - не могу же я им сейчас плюнуть в лицо. Да и легко тебе говорить - вас, западников, не выдавали силой "советчикам", не так, как нас.

На это он тряс с осуждением поднятым вверх указательным пальцем и кричал:

- У тебя темные уголки в душе.

- Ты не обращай на него внимания, - советовала мне Ия.

... В этот день лагерь жужжит как пчелиный улей, а у костра украинцы стоят под желто-голубым флагом, наспех сшитым Надей. Вот грянул их гимн, и все удивленно поворачи-

вают головы: сегодня они поют лучше всех. Выделяется бархатный, отшлифованный баритон Мирона. Остальные голоса, включая "дьячка", тоже как бы став на свои места, гармонично вливаются в общий хор.

... Надя часто приносит из леса букетики цветов, тщательно ощипывает соцветия и сушит их на солнце. У ее ног неизменно вертится серый комочек - собачонка, названная нами Бальдо.

- Ты - точно колдунья со своим зельем, - говорит Зельма. - Как врач,ты должна больше верить в таблетки. Что это за желтые цветы?

- Зверобой для лечения желудочных заболеваний. Лечение травами - не мое открытие, - терпеливо объясняет Надя, - корни фармакологии уходят в царство растений. Примеры: белладонна, хинин, дигиталис...

- А есть ли такие настойки, с помощью которых можно приворожить?

Надя морщит свой коротенький носик.

- Таких не знаю, - улыбается она.

Войдя в палатку, Зельма обращается к нашей польке, тасующей карты для пасьянса:

- Погадай мне, пожалуйста.

Аля после долгих уговоров уступает и, раскладывая карты, пророчит:

- Из казенного дома известие... У тебя с королем червей общий интерес...

- Да, сама же видишь, - язвит Регина, - вот король червей, редкозубый, длинноногий... - начинает она описывать Хайнца.

Еще недавно Зельма носилась по всему лагерю, радостно сообщая: "*Meine Familie* (моя семья, - то есть Хайнц с матерью) приедет в воскресенье!" Но "фамилия" не явилась, и девушка ходит как в воду опущенная.

* * *

Приближается время нашего отъезда. Азартно проходят спортивные соревнования. Кто-то побеждает, кто-то проигрывает. Но в конечном итоге мы все выигрываем, даже очень

выигрываем и значительно обогащаемся: опыт общения, приобретенный в лагере, навсегда останется с нами. Мы изучили слабые и сильные стороны друг друга, сгладили острые углы в наших отношениях и поэтому стали более терпимыми к недостаткам других, более человечными, близкими и дорогими друг другу. Даже Мирон помирился со мной...

В последний вечер у костра мы дарим майору Маккаррену пушистого Бальдо и прощаемся с коллегами из других университетов.

"Менса Академика" гостеприимно встречает нас блеском только что застекленных окон, полыхающих в лучах заходящего солнца.

А вскоре - сенсация в обычно спокойном общежитии: помолвка "польско-литовской унии" и бракосочетание литовской пары. Что же касается Хайнца, - он женился на какой-то немке. Бедная Зельма еще долго оплакивает потерю своего коварного избранника.

В этом же году Аля уезжает к сестре в Соединенные Штаты, а Глеб - в Южную Америку. Затем отбывают в Канаду Регина и Ковальчук. Много позже я навещу Мирона в Торонто. Он, указывая на своих трех детей, скажет: "Теперь я строю малую Украину".

Постепенно "Менса Академика" пустеет. Я, получив диплом экономиста, уезжаю в Соединенные Штаты, унося с собой на всю жизнь светлые воспоминания о моих студенческих годах, полных надежд...





ЗДРАВСТВУЙ, АМЕРИКА

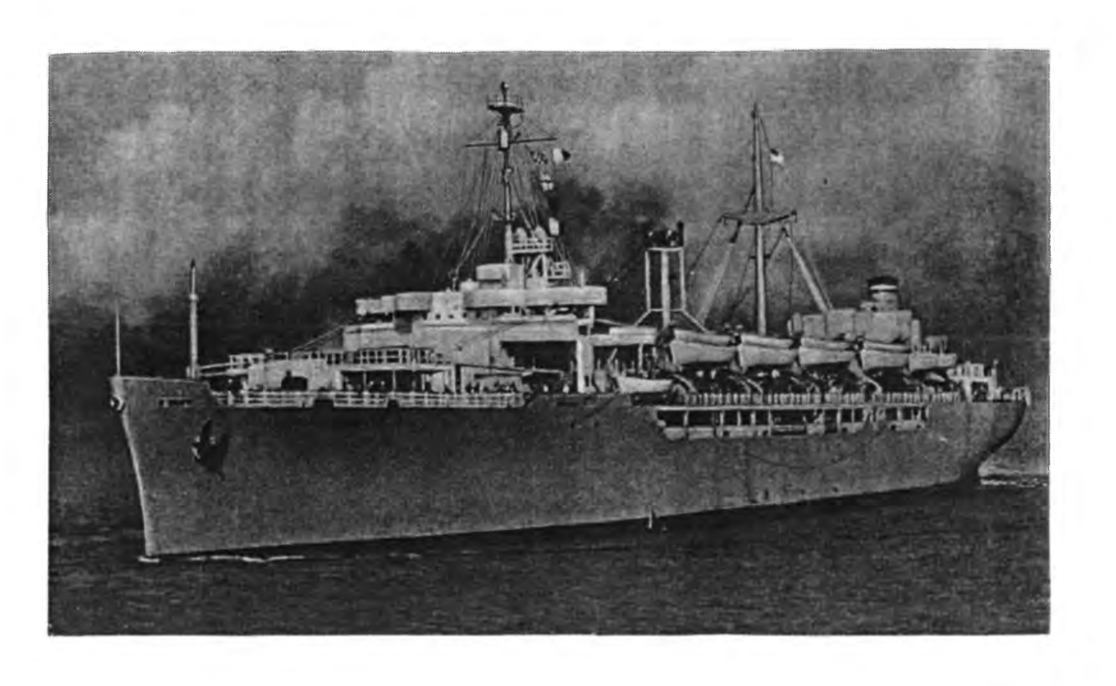
Наш небольшой пароход "Генерал Блэтчфорд", один из так называемых кораблей победы, перевозивших во время Второй мировой войны американских солдат в Европу, меняет курс, так как получена радиограмма: из-за забастовки грузчиков в порту нас Нью-Йорк не может принять. Это мое первое знакомство с американскими свободами. А мне-то так хочется увидеть сказочный город-гигант.

Целую ночь мы, ожидая новых распоряжений, проводим в море, потом нас направляют в Бостон, где "Генерал Блэтчфорд" становится на рейде у входа в порт и швартуется в гавани лишь утром.

Пассажиры, бледные, измученные качкой во время настигшего нас урагана в океане, высыпают толпой на палубу. Языки деревенеют от впечатлений, какое-то брожение в душе, невысказанные мысли... Что принесет им эта страна? Рядом со мной стоит мама. Я замечаю слезы у нее на глазах: от ликования ли или же от удушающей тоски - прибытие к новому берегу как-то подчеркивает окончательный разрыв с родиной... Возле нас - моя доченька Оленька. Она с присущим детям энтузиазмом шепеляво лепечет:

- Смотли, смотли, сколько огней! И класные, и белые, и желтые.

А огней действительно множество. Некоторые запутанным ожерельем протянулись по всей равнине. Это - дороги. Другие же бегут беспрерывным потоком. Я еще никогда не видела столь напряженного автомобильного движения. Там и блеск красных мигалок, и чуть слышное издали завывание сирены. Прошлое как-то сливается в сплошной ком, а настоящее вспыхивает ярко, словно включили киноэкран.



"Генерал Блэтчфорд" - судно, доставившее нас в Америку.

Когда я смотрю на неясный силуэт города, радостное возбуждение мощно обуревает меня: я стою на пороге новой жизни. Исчезает страх, возникший из-за того, что я почти не знаю английского языка и что у меня немецкий диплом экономиста, который, возможно, не будет признан. Приживемся ли мы на этом континенте?! - Все образуется. Ведь Земля пока еще не сдвинулась с оси. Мы должны преодолеть все трудности, - внушаю я себе, и моя грудь наполняется уверенностью.

На следующее утро корабль разгружается; пассажиров размещают в громадном зале порта. На завтрак дают кофе, молоко и бутерброды. Оленьку я усаживаю на плетеную корзину, в которой хранятся все наши беженские "сокровища", между ними не последнее место занимают прищепки для белья. Один из наших знакомых по лагерю "Ди-Пи", приехавший раньше нас в Америку, в шутку или по неведению написал нам: "Здесь есть все, кроме бельевых прищепок".

Я даю Оле в руки чашку молока и бумажную салфетку.

- Будь осторожна, девочка, не разлей, - говорю я, видя ее игривое настроение.

Мы с мамой за неимением свободных мест завтракаем стоя. Когда я сосредоточиваю все внимание на своем бутерброде, раздается вдруг голос мамы:

- Ах, Боже ты мой!

Это Оля опрокинула чашку с молоком. В ужасе я вижу, как молоко через щели между прутьями просачивается внутрь. Страшно даже подумать, что в это время происходит с нашим скарбом. Мама бросается к Оле и дает ей несколько шлепков. Девочка громко плачет. К нам шустро выскакивает из толпы полицейский, как видно, наблюдавший за этой сценой.

- Миссис, у нас детей не бьют, - говорит он строго маме на искаженном польско-украинском языке, - а если вы будете продолжать это делать, вас отошлют туда, откуда вы приехали. - Он смотрит на нас из-под зарослей бровей сурово, непримиримо и неподкупно.

Мы удивлены. Я не за то, чтобы родителям разрешали истязать ребенка, но ведь ему нужна дисциплина, которой, как я позже убедилась, так недостает американским детям.

В полдень я делаю свою первую покупку в Соединенных Штатах - картонку молока за 18 центов (теперь она стоит почти доллар).

Затем события развиваются еще быстрее: ночной поезд до Нью-Йорка, где мы в отеле остаемся на одну неделю, далее переезд в Ньюарк, Нью-Джерси. Там мамин бывший пациент подыскал нам двухкомнатную квартиру без горячей воды и центрального отопления за 18 долларов в месяц.

* * *

Это поистине асфальтовые джунгли. Здесь дома сиротливо и зябко жмутся друг к другу. Вокруг бетон и камень - ни деревца. Только во дворе у сетчатого забора торчит хилый клен с корявым стволом. Наш четырехэтажный дом напоминает каменную глыбу, подвергавшуюся долгие годы разрушительному действию ветров и непогоды. В его коридорах всегда стоит запах мышей и плесени.

За окном мокрая осень хлюпает и катит по городу опавшие листья и клочья газет. Ветер жалобно воет, ударяясь с размаху о стены.

Вечереет. Я на корточках досадливо чиркаю спичками, безуспешно стараясь растопить огромную чугунную плиту. В коридоре послышались шаги. Постучали в дверь.

На мое недовольное "войдите" на пороге вырос грузный седовласый мужчина в темном пальто.

- Школа, - отдышливо говорит он, наставив на меня свой тупой подбородок.

- Вы не туда попали. Школа вон рядом, - показываю я через окно на освещенное здание.

- Василий Школа - мое имя, - объясняет незнакомец, и мы дружно смеемся.

- Мне сказали, что в этой квартире наши люди. Прибыли только что из Европы. Чем-либо помочь?

- Да, прибыли, видите, - указываю я на царящий в комнате переполох вещей, любознательно глядящих на свет Божий из раскрытых чемоданов.

- *Welcome to America!* - приветствует меня гость и, сняв свое набухшее сыростью пальто, споро старается разжечь огонь. Не проходит и нескольких минут, как от нашего "домашнего очага" начинает тянуть теплом и мирным уютом.

Из смежной комнаты-спальни всей нашей семьи, состоящей из трех человек, выходит моя мать, которая укладывала спать Олечку.

- Вы уже давно в Соединенных Штатах? - интересуется она.

- Ни много ни мало - тридцать восемь лет. *Long time*! Еще перед революцией приехал. Невесту там оставил. Думал, заработаю деньжат, женюсь, хозяином буду. А моя невеста, покуда я тут вкалывал, замуж за соседа выскочила. Так я и остался в США, - и он рубанул воздух ребром большой, как лопата, руки, будто отрезал с прошлым. - А теперь живу тут недалече, у вдовца-полковника Сергеича. О! У него мудрая-премудрая голова. Все пыхтит своею трубкой - из Греции ее когда-то привез - и думу думает. *Smart man*! - он многозначительно свистнул.

Несмотря на свою фамилию Школа, Василий не может похвастаться образованностью, но рассказывает он живо и занятно.

- Это для вас, - он, вынув из кармана косынку, протягивает ее маме. И никак невозможно отказаться от его подарка.

Василий вскоре прощается, так как ему нужно кому-то еще "малость помочь", пообещав зайти завтра. А в плите уже весело потрескивают дрова, и в нашей убогой квартире становится будто светлее. От этих крох человеческого внимания, проявленного незваным посетителем, мое подавленное настроение словно рукой снимает, и душу наполняет спокойствие.

На следующий день Школа притащил кроватную сетку, на которую кладут матрас, и цементные блоки. Из них он сооружает тахту и потом долго стучит молотком, укрепляя единственный в квартире стул.

Он, несмотря на многочисленность опекаемых, продолжает заходить к нам часто после дневной суеты и всегда бывает желанным гостем. Он умеет утешить и обнадежить, умеет и помочь. Василий нашел даже для мамы работу в больнице - она

там стерилизует инструменты. Хотя ее занятия не вполне соответствуют квалификации врача с многолетним стажем, но все же это обещающее начало.

Я же поступаю продавщицей в булочную.





МОЙ ПЕРВЫЙ ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ

Наш дом населен местным трудовым людом, так называемыми "синими воротничками". Среди них мы - три семейства "перемещенных лиц". Американцы к нам относятся то покровительственно, то немного свысока, по-видимому, потому, что мы еще не в ладах с английским языком. У них и обстановка получше нашей, им известны все входы и выходы в стране, у них постоянная работа. А что мы? - Мы только еще устраиваемся. Я даже по гулкой самоуверенной походке могу безошибочно определить проходящего мимо нашей двери американца.

С самой ближайшей соседкой мои отношения оставляют желать много лучшего. И языковый барьер тут ни при чем. Миссис Вера Гиллен родилась в Америке, а ее родители приехали из Ростова. Хотя ее русская речь с ужасающим акцентом и пересыпана английскими словами, но понять ее все же можно. Она - высокая, плоскогрудая, с быстрыми карими глазами. Опущенные уголки рта указывают на сдержанность характера. Ее можно назвать даже привлекательной.

У нее два сына. Первенец Марлон, тонкошеий и лопоухий очкарик, немного старше моей Олечки, часто заходит к нам и удачно изображает обезьян - смешно чешется, неуклюже прыгает и издает нечленораздельные звуки. Он терпеливо поправляет ошибки в произношении моей дочки и по-рыцарски защищает ее от своего младшего брата Джека, упитанного, толстощекого бутуза, который не упускает случая отлупить *stupid*, как он называет Оленьку из-за ее ломаного английского. Завидев ее издали, он поднимает голову, как пойнтер, в его глазах вспыхивают желтые огоньки, и он прытко бросается на беззащитную тоненькую девочку.

Я часто стучу в дверь к Гилленам.

- Опять Джек? - спрашивает Вера хладнокровно. Как всегда, на ее темных волосах, накрученных на бигуди, синий тюрбан. В рабочие дни она причесывается только перед приходом мужа, который для нее весь свет в окошке.

- Опять Джек, - говорю я. - Да обуздайте же наконец своего мальчугана. Он Оленьке проходу не дает.

- Я с ним поговорю, - обещает она. - *I try*, - попробую, - разводит она руками.

И от этого "трай" - никакого толку.

Жаловаться же отцу на забияку - бесполезно: мистер Гиллен то на работе - на пивоваренном заводе, то погружен в нирвану после выпитого пива. От него разит алкоголем, как из бочки. Правда, в такие минуты этот симпатичный, усатенький толстяк не бесчинствует, не изрыгает скабрезности, а лишь предается философским рассуждениям с самим собой. Он выслушивает, сопя, мои жалобы с широкой бессмысленной улыбкой, треплет меня по щечке и называет мисс Америкой, но никаких дисциплинарных мер к своему сыну не применяет.

Мы с мамой в отчаянии, а Оленька в постоянном страхе.

Как-то при встрече я даже пробую подкупить этого малолетнего мерзавца Джека конфетами.

- Ведь Оленька тебя не трогает? - спрашиваю я.

- Не трогает, - смачно сосет он конфету и шмыгает своим плоским упрямым носом.

- Так чего же ты ее колотишь?

- *Free country* - свободная страна, - парирует маленький наглец.

- А если она тебя станет колотить?

- Она не посмеет, - уверенно отвечает он.

Оленька продолжает ходить в синяках. Она уже дважды не пошла домой после школы, а поджидала нас с работы на углу улицы.

Мы с мамой стараемся научить девочку уму-разуму.

- Ведь ты старше Джека, дай ему хоть один раз отпор, и он перестанет над тобой издеваться, - внушаю я ей.

- Так тебя, голубка, и куры заклюют. Запомни: покорным и немощным нет дороги в жизни, - поучает ее бабушка.

Но нежная девочка не умеет драться. И все повторяется сызнова - и потасовка, и побои, и плач.

- Я его выдеру за уши, - возмущенно грозит мама, страдая за свою любимицу.

- Погоди с ушами, а то на нас еще заявят в полицию. Может быть, все еще утрясется, - стараюсь я ее успокоить.

И вот, действительно, все утряслось совсем неожиданно.

Накануне Дня Благодарения я, услышав во дворе крик дочери, поспешила к ней на помощь и поймала мальчугана "на месте преступления". Оленька забилась в угол между домом и забором, а Джек буквально месил ее кулаками. Звереныш вошел в такую ярость, в такой азарт, что даже мое появление его не смутило.

- Бей ее, Джек, бей! - подзадорила я его, вспомнив о методе "негативной психологии". - Если она не умеет за себя постоять, так ничего лучшего она и не заслуживает.

Оленьку мои слова просто потрясли. Руки, которыми она защищала голову, повисли как плети. В серых глазах, полных слез, застыло изумление: ведь мать всегда была за нее горой. А теперь она... одна-одинешенька. Джек, воспользовавшись ее замешательством, дал ей в ухо. И вдруг она как бы опомнилась. Ее реакция была незамедлительной и точной. Она стремительно, с отчаянной решимостью пошла на своего врага, выставив вперед кулачки и отражая удары.

- Вперед, вперед, Оленька. Смелее! - подбодрила я ее.

Моя девочка совсем преобразилась: глаза блестят, щечки запылали. Озадаченный неприятель попятился, и это придало ей еще большей уверенности. Она оказалась быстрее и ловче его и вскоре загнала Джека в угол. Тот, все еще отбиваясь, громко заревел, скорее от обиды, чем от боли.

- Молодец, доченька! Бей его!..

И вдруг во дворе появляется миссис Гиллен.

- Дети подерутся и помирятся, - говорит она мне с упреком. - *But shame on you* - но как вам не стыдно помогать избивать ребенка.



Моя дочь Оля (Глория).
Фотография сделана сразу по приезде в Америку, в 1951 году.

Я пробую рассказать ей о "негативной психологии", но у нее уголки рта опускаются еще больше, и по ее глазам я понимаю, что не сумею оправдаться. Махнув рукой, я умолкаю, но мне досадно: я нажила себе врага.

В День Благодарения, когда я, возвращаясь из булочной, вхожу в наш всегда дурно пахнущий дом, мне ударяет в нос непривычный вкусный запах жареной индейки.

Мама, тоже после работы, только что привела Оленьку от ее школьной подруги. В квартире собачий холод, и девочка, сидя за столом в пальтишке и шапчонке, убористо и аккуратно выводит буквы на листе бумаги.

- Что ты пишешь, мое солнышко? - спрашиваю я.

- Заголовок к рисунку "Как я провела День Благодарения". Это - домашняя работа, - щебечет она и, повернувшись ко мне, спрашивает, - а что у нас сегодня на обед?

- Куриный суп, - показываю я на кастрюлю.

- А у Карэн сегодня индейка, и у Марлона - тоже, - ее голосок становится печальным. - Наша учительница говорила, что сегодня все люди в Америке едят индеек.

- В другой раз у нас все будет, доченька, и индейка будет, - обещаю я, испытывая угрызение совести: как объяснить ребенку, что мы здесь еще совсем недавно, что за день работы я просто забыла об индейке, да и праздник этот мне незнаком.

- Что же я нарисую для школы?

Я молчу, слезы душат меня. Впереди - долгий осенний вечер. Стол покрыт старой клеенкой, на нем кастрюля со вчерашним супом; неуютная комната с голыми стенами и старой изувеченной мебелью, напоминающей обломки кораблекрушения, а на дворе студеный ветер теребит и хлещет гибкие ветки клена. Окоченевшими руками я стараюсь растопить громадную чугунную плиту, прозванную нами домной. Дым лезет мне в горло, я кашляю, слезы застилают мне глаза - и дым горький, и на душе горько.

Стук в дверь. На пороге миссис Гиллен в красивом бордовом платье. На плечи накинут свитер. Вместо вечного тюрбана ее голову украшают модные, кокетливые локончики.

- Мы приглашаем вас на обед, - говорит она, улыбаясь.

Стол у соседей накрыт белой скатертью, рядом с тарелками - матерчатые салфетки: роскошь, о которой мы давно забыли. Возле огромной подрумяненной индейки отливает золотом сладкий картофель, а ягоды в клюквенном соусе горят рубинами.

Первым к Оленьке подбегает Джек.

- Давай будем друзьями, - протягивает он ей руку.

Сам мистер Гиллен, к моему удивлению, вполне трезв и бодро нас приветствует.

- Знаете ли вы, что означает День Благодарения? - спрашивает он.

- В этот день много лет назад пилигримы из Англии, высадившиеся на скале Плимут, после года ужасных лишений отпраздновали первый сбор урожая, принеся благодарность Господу Богу за все земные дары, - вспоминаю я.

- Это было в 1621 году, - говорит он. - А почему на этот праздник едят индеек?

- Я не знаю.

- Пилигримы для своего банкета, наряду с другими яствами, запекли четырех диких индеек. Вот и осталась с тех пор традиция. Пилигримы на это пиршество пригласили своих соседей-индейцев, - дальше рассказывает наш хозяин и дарит мне брошюрку с информацией. Я ее просматриваю и почти все понимаю, так как там преобладают имена и хронологические сведения, как например: президент Джордж Вашингтон провозгласил 6 ноября 1789 года Днем Благодарения. Президент Линкольн в 1863 году перенес этот праздник на четвертый четверг ноября, но Ф.Д. Рузвельт назначил для него дату на неделю раньше. Только в 1941 году четвертый четверг ноября был снова объявлен Конгрессом Днем Благодарения...

Обед съеден на больших скоростях. Потом на столе появился громадный тыквенный пирог. Вот уж у Оленьки будет достаточно тем для школьного задания!

Мама вскоре уходит отдыхать; я остаюсь помочь Вере с посудой. Дети мирно разглядывают картинки в журналах. А мистер Гиллен вновь находится в счастливой нирване и, сидя на диване в гостиной, разглагольствует сам с собой (ведь всем из-

вестно, что самый лучший ваш слушатель - вы сами!). В эту ночь мы спим безмятежно и блаженно.

С тех пор было в моей жизни множество больших и малых индюшек с различными начинками и приправами и отпраздновано множество Дней Благодарения, но ни один из них не остался так крепко в памяти, как тот первый, когда мы были обогреты и обласканы человеческой теплотой и вниманием на американской земле.



ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА

Нам, новоприезжим, так хочется узнать больше о стране, на землю которой мы недавно ступили.

Василий Школа охотно отвечает на наши расспросы:

- Было и *good*, было и *bad* - всего понемножку.

Он жалуется, что когда-то по болезни и безработице "шиш" давали; в депрессию многие себе "пулю в лоб пустили", а при "азиатском море, что гриппой называется, тысячи людей окочурились".

- Точь-в-точь как в Лондоне от чумы, - веско заявляет он, - мне сам полковник рассказывал, а он все знает, - и Василий свистит. - Теперича другое дело - правительство всех обеспечивает. А вообще Америка - *land of opportunity*, страна возможностей. Тут каждый может миллионером стать. Вот и со мной один такой случай был, - он, храбро улыбаясь, как-то весь встрепенулся, брови качнулись, тяжелые веки приподнялись, глаза блеснули голубизной. Он начинает рассказывать, как когда-то у его "фордика" полоска хромовой отделки потерялась, и он решил найти такую же на кладбище автомобилей, которое находилось за городской свалкой.

- А там кучи *garbage'a* - одна выше другой. Ан глядь - из-под старья хорошенький коробок выглядывает. Вынул его, потряс - что-то колотится. Открываю, а там... черная жемчужина, как ночь, блестит и переливается на солнце, - его голос звучит восторженно, а взгляд обращен в далекое прошлое на какое-то представшее перед ним сокровенное видение. - Пошел к ювелиру, а тот мне говорит: "Она стоит сорок тысяч - другой такой во всем мире не сыскать. *You - rich man!* - Его лицо приобретает особую значительность. Он приосанился и как бы

увеличился в объеме. Возбуждение рассказчика передается его слушательницам.

- Что же вы с жемчужиной сделали? - одновременно восклицаем мы с мамой.

- Потерял... На работу иду - куда ее девать? Так я ее в мешок с мусором клал. Думал, ни один злодей не будет там искать. А на ночь - в комод. Вот раз забыл вынуть ее из мешка и выбросил мусор.

- Когда же вы об этом вспомнили? - спрашиваю я.

- На работе. Отпросился домой, но опоздал. Я взял даже отпуск, узнал, где из нашей части города мусор сваливают. Целый месяц рылся, как жук в навозе... Пропала, - говорит он упавшим голосом и взмахивает рукой, будто старается отрубить для себя все возможности стать богатым. Его глаза опять тускнеют.

Василий Школа не только хороший рассказчик, но и отличный советник: он знает в какое учреждение обращаться с той или иной просьбой и где лучше покупать одежду и продукты. Когда у меня заболел зуб, он дает мне адрес своего стоматолога.

Др. Морис Динер - крупный представительный мужчина с интеллигентным лицом. Голубые глаза смотрят доброжелательно через линзы очков, а голос какой-то мягкий, располагающий. Он обращается ко мне "миссис" и по фамилии, что приятно удивляет, так как я, ступив на этот континент, бесповоротно почему-то для всех превратилась в "Дженни". Доктор приготавливает цемент для временной пломбы. Я украдкой наблюдаю за ним, и он, почувствовав на себе мой взгляд, чуть заметно улыбается. Я отвечаю тем же. Его улыбка становится более смелой. Это - как играть в пинг-понг искрой дружелюбия. На письменном столе стоит фото привлекательной женщины. "Кто эта незнакомка?" - мысленно интересуюсь я.

Мы все больше и больше привыкаем к Василию, к его грубоватым манерам и незатейливым, но занятным и полным юмора рассказам. Нередко он повторяет историю о потерянной жемчужине, которая навсегда оставила в его жизни глубокий

след. Воспоминания о ней имеют какую-то взрывчатую силу, превращают его в другого человека.

Мы иногда угощаем Василия чем Бог послал. Он садится чинно за стол и прежде чем приступить к трапезе осеняет себя широким крестным знамением. В долгу он никогда не остается: приносит фрукты, булочки и всяческие подарки. Олечка получает от него похожую на нее куклу, светлоглазую, тонкобровую, со вздернутым носиком, у которой отбиты пальчики на одной ручке. Потом он притащил изящную, со сломанным выключателем лампу, объясняя: "Это - антик. На него только глядеть, любоваться им". Мне же он преподносит золотистую нить жемчуга с неуместно большим крючком, вместо застежки. "Хоть это не бриллиант и не черная жемчужина, - говорит он, - но вам, красной молодке, к цвету глаз и волос подойдет. Ишь ты какая - хоть под венец".

Вот уж далась ему эта потерянная жемчужина. Он прямо-таки был ею одержим. Недаром наши эмигранты ласково называли его Перлом.

- Ну, как мой дантист? - спрашивает он.

- Назначил мне прийти на следующей неделе.

Во время очередного визита к стоматологу опять противно жужжит бормашина. Доктор работает сосредоточенно. В белом крахмальном кителе, хлопотливый, с поджатой от усердия нижней губой, он напоминает ребенка, занятого любимой игрушкой. Почему-то мне хочется погладить по головке этого большого мальчика.

- Доктор, вы детей принимаете? - спрашиваю я, вспомнив, что Оленька жаловалась на зубную боль. Следует утвердительный ответ. И вдруг я совсем некстати спрашиваю:

- У вас тоже есть дети?

- Нет, - отвечает он, - я не женат.

Вопрошающе я перевожу взгляд на портрет незнакомки.

Врач, назначив визит для Олечки, говорит мне любезно:

- Я вижу, вы образованная женщина и очень быстро схватываете новый для вас язык. Хотите, я помогу вам в изуче-

нии английского? Конечно, бесплатно, - добавляет он поспешно.

Это меня вполне устраивает.

Дома я рассказываю о выгодном для меня предложении стоматолога маме и леди Нэнси, управляющей домом. Последняя недоверчиво потряхивает своими тремя подбородками:

- Зубной врач будет терять время, не получая гонорара? Вы - наивная. Вспомните мои слова: он потребует *другой* платы.

Тем временем я меняю места работы: сначала становлюсь ассистенткой мага, потом "моделью причесок" и, наконец, фабричной работницей. Хотя это не мое призвание, но зато помогает нам обрести материальную независимость. Идет выплата долгов. Вскоре я, решив, что пока будет целесообразнее переквалифицироваться, поступаю на вечерние недолгосрочные курсы в школу медицинских лаборантов.

У моей матери тоже приятная новость: она устраивается врачом-интерном и каждую свободную минуту долбит, вздыхая, неподатливый гранит английского языка и медицинскую терминологию. Олечке же чужой язык дается легко - она успешно переходит в следующий класс.

Теперь мы с моим стоматологом, с письменного стола которого давно исчез портрет незнакомки, большие друзья, перешедшие с официальных "миссис" и "доктор" на теплые "Морис" и "Дженни".

Опять наступает весна. В луже перед нашим домом засинело небо, выметенное начисто апрельским ветром, а возле нее на тротуаре появился тщедушный кустик травки, поклевать который иногда прилетает серенькая пичужка.

Уже больше недели не заходил к нам Школа, и мы забеспокоились. Телефона у него нет, и я направляюсь к нему с визитом. Он живет на бойко торгующей, бурлящей толпой и обласканной солнцем улице. Звоню в дверь. Мне открывает высокий мужчина с офицерской поступью, его пятнистый череп покрыт скудным желто-белым цыплячьим пушком, а в углу рта дымится закопченная трубка. Я представилась. "Сергеич" оказался Андреем Сергеевичем.



Мой муж Морис (верхняя фотография) и дочь Ольга (Глория).

- Пожалуйте, пожалуйте, любезнейшая. Весьма рад познакомиться, - суетится он и, галантно поцеловав мне руку, пропускает в коридор. - Мне о вас и о вашей почтеннейшей матушке многое поведал мой квартирант. Вот уж он вам обрадуется. Он себе ногу повредил.

Мы немного говорим о погоде, о политике, а потом Андрей Сергеевич идет доложить о моем приходе. Школа правильно охарактеризовал полковника - это действительно мягкий, образованный человек с безупречными манерами.

Комнату Василия, просторную и светлую, только с натяжкой можно назвать жилым помещением. Большую ее часть занимает какое-то странное нагромождение предметов - что-то среднее между магазином, мастерской и складом. Больной лежит на постели под цветной бумажной иконкой. При виде меня он немного смутился и рьяно рассказывает о своем "эксиденте".

- В поздний час шел я от знакомых, а в тротуаре выбоина оказалась, вот я и полетел на все четыре. Ни много ни мало, ребро сломал и жилу растянул.

Он повествует подробно о том, как полицейский отвез его в больницу и там ему оказали первую помощь. Я же украдкой продолжаю изучать его имущество. Это - далеко не плюшкинские хаотические залежи. С вещей, наваленных на чистом полу, снималась, по-видимому, пыль. Все они, как в универмаге, рассортированы по их функциям: одежное отделение, ювелирное, детские игрушки, украшения для квартиры - пепельницы, статуэтки, лампы, картины, развешанные или прислоненные к стене.

Ясно, поставщики всего этого - мусорные ящики. Василий свои находки приводил в порядок и раздавал знакомым. Мне становится не по себе от мысли об источнике его подарков, но все же это случайное открытие не роняет его в моих глазах. Разве дело в вещах? Важно его участие и внимание, его бескорыстие и доброта.

Я продолжаю навещать Василия, пока он совсем не становится на ноги. Приношу ему что-нибудь вкусненькое и подолгу выслушиваю рассказы полковника о Гражданской войне. Тесные узы между нами продолжают крепнуть, и со временем наше знакомство превращается в истинную дружбу.

Однажды в июле я уезжаю на несколько недель в отпуск на север и оттуда привожу в подарок Василию икону Богородицы, а Андрею Сергеевичу - трубку, поразительно похожую на его старую.

В жаркий день я иду к ним с подарками. Парит, как перед грозой. Мне сразу бросается в глаза, как изменился полковник. Несмотря на жару, его всегда свежее лицо бледно, щеки осунулись, глаза ввалились. Он выглядит, как бы озябшим, съежившимся.

- Вы больны? - обеспокоилась я.

- Ушел Василий, - печально объявляет он.

- На другую квартиру?

- Умер он. Умер от кровоизлияния в мозг. Смерть наступила мгновенно.

Мы молчим долго и горестно. А вокруг разливается тишина измученного зноем города. Андрей Сергеевич вводит меня за руку в дом и сажает на диван. И вдруг мы разом заговорили, словно стараясь переворошить все прошлое, все воспоминания о нашем друге. Говорим долго. Между тем черная туча выплыла из-за крыши соседнего дома, слышится мерный, легкий стук начинающегося дождя. Мне вспомнилась история с жемчужиной.

- Ну что ж, - говорит Андрей Сергеевич. - Василия нужно понять. Это то же самое, как неудачливый охотник рассказывает о рукопашной с великаном-медведем, рыбак о необычном улове, а золотоискатель о том, как он нашел исполин-самородок.

Я смотрю на моего собеседника с изумлением и смущением:

- Вы хотите сказать, что черной жемчужины вообще не было, что это выдумка?!

- Я - старый дурак, - спохватился полковник, рассердившись сам на себя, - невзначай проболтался, нарушил тайну друга. Ах! Боже мой! - он горячо оправдывается. - Ни в коем случае я не хотел охаять человека. Василий не был лгуном. Он был правдивейшим и честнейшим человеком - бриллиантом чистой воды. Тяжело работал, не пил, всю жизнь другим помогал.

- Что вы этим хотите сказать?

- Жемчужина - не хвастливая выдумка, это - мечта, превратившаяся со временем в действительность. Она реальна, как психосоматические явления. Ведь Америка - страна неограниченных возможностей. В Америке весь смысл жизни в достижении успеха. Здесь каждый живет в поисках своего Эльдорадо. А у нашего друга - простая работа, средненький заработок, ничего выдающегося. Будни. Вот и кажется человеку, что он сплоховал, что ему досталась судьба глухая, немилостивая. Нужно заметить, что Василий действительно нашел жемчужину и даже ходил к ювелиру, чтобы оценить ее, но жемчужина оказалась фальшивой. А мечта уже появилась. Что же делать? Я сам наблюдал, как шло волшебное превращение. Постепенно между мечтой и реальностью грань становилась все тоньше, а потом совсем исчезла. Василий искренне поверил в свою мечту, и ему казалось, что жизнь его не обошла, не обидела.

Полковник замолчал.

- Вы правы, - говорю я задумчиво, - у каждого человека есть своя жемчужина.

Позже я иду по улице в туманной дымке. Капли дождя смывают слезы, катящиеся по щекам. Я иду и думаю: "Бедный Василий. Ведь у него была настоящая драгоценная жемчужина, он владел ею до конца дней. Это была его доброта, его дар помогать другим..."

* * *

Очутившись на Западе, мы никогда не писали домой, зная, что отец погиб, братьев и сестер у меня не было, а более дальним родственникам боялись повредить, так как их за переписку с империалистической страной могли преследовать. Но вот Никита Хрущев начинает свое "оттепельное владычество". Зашевелились и воспрянули духом наши беженцы. Люди, оторванные от своей земли и разлученные с близкими, стремятся к восстановлению семейных контактов. И мы предпринимаем этот шаг: пишем маминой старшей сестре Марине письмо. В конце моя приписка: "P.S.: Известно ли кому-либо, где папа похоронен?" Ответ мы получаем, но не от тети, которая, как мы позже узнали, была убита во время отступления немцев при

бомбежке, а от... папы. Он пишет: "Как видите, война пощадила меня, хотя я и был серьезно ранен. Поэтому очевидцы и посчитали меня за павшего на поле боя. Подобные ошибки иногда случаются при военных действиях... Теперь я уже несколько лет на пенсии..."

- Он жив! Папа жив! Извещение о его смерти оказалось ошибкой.

Письмо падает у меня из рук. Мы с мамой обнимаемся, рыдая от счастья, и уже мысленно несемся в голубую даль, разматывая нить памяти. Это непостижимо радостный путь. Я, очертя голову, ныряю в детство, вспоминая, как мы с папой вместе читали сказки братьев Гримм, и как он помогал мне решать трудные задачи по геометрии. И город, мой милый город возникает передо мной в степной дымке. Мои губы шепчут:

- Папа... Дорогой папочка...

Между отцом и нами завязывается очень оживленная переписка. Каждая весточка от него - для нас праздник. Строим планы встречи. Папу в Соединенные Штаты, конечно, не пустят, да и его пошатнувшееся здоровье не разрешит предпринять столь далекое путешествие. Нам же с мамой вернуться на родину опасно, - чего доброго, еще не выпустят из страны. Папа намекал уже не раз, что к нему последнее время зачастили "гости" из КГБ. Договариваемся, что я возьму круиз по Черному морю, и мы встретимся в Одессе. Мы делаем это чрезвычайно осторожно, закамуфлированно, адрес нашего свидания (его знакомых) растягиваем на несколько писем.

Увы! Когда уже все документы готовы для моей поездки, приходит печальное известие: папа серьезно болен... Вскоре он умер.

Но я счастлива, что имела возможность с ним переписываться и этим обогрела его последние годы старости, что хоть перед смертью он узнал: мы живы, думаем о нем и любим его.

* * *

Моя семья начинает преуспевать. Долги выплачены. Есть деньги на банковском счету. Мама становится доктором-

резидентом. Она в белом халате разъезжает в машине "Скорой помощи" на вызовы, и заметки о ее успешной деятельности появляются в местной газете. Оленька учится очень хорошо. А мне, несмотря на то, что я еще не окончила школу, предлагают работу лаборантки. У нас теперь новая квартира, три комнаты и кухня с центральным отоплением и довольно сносной мебелью. Если бы не соседка миссис Кловер, все бы шло великолепно. Эта хворостина с впадинами возле ключиц и острыми локтями обозлена на весь мир, а в особенности на одиноких женщин, с одной из которых сбежал ее муж, шофер грузовика, оставив ее с кучей детишек. После того, как я пропустила свою очередь вымыть общий коридор, она начала против меня "крестовый поход". Появляясь на лестнице, она не пропускает без скабрезных замечаний ни одного нашего посетителя мужского пола, будь то гость или просто молочник.

У многих эмигрантов процесс "вживания" в новой стране происходит долго и трудно, а мне, видимо, на роду было написано пустить сразу глубокие корни в американскую почву.

Вот один кадр из пестрой ленты моей жизни, - и в нем ключевой момент дальнейшего моего существования:

К нам приглашен доктор Морис Динер на блины. Я, ожидая гостя, раскрасневшаяся, томлюсь над горячей сковородкой, и - о ужас! - в коридоре раздается резкий голос соседки. - Это может иметь для меня самые неприятные последствия.

Дальше начинается цепочка событий: стук в дверь, на пороге Морис. Он, весьма деликатный и воспитанный человек, чрезвычайно смущен поведением миссис Кловер, которая, стоя у лестницы, с бигуди в волосах, ругается и визжит так, что звенит кухонное стекло. Я, чуть не плача, переворачиваю в масле шипящий блин и словами гостеприимства стараюсь скрасить впечатление гостя от этого унизительного столкновения. Морис же отвечает совсем невпопад. Так ли я его поняла?..

- Я предлагаю тебе стать моей женой! - с торопливой готовностью повторяет он. - Хочу сделать из тебя честную женщину, - улыбаясь, указывает он взглядом на дверь, за которой все еще беснуется соседка, называя меня самыми оскорбительными для женщин именами.

После брачного предложения мы горячо обнимаем друг друга, забывая об окружающем. Мое сердце полно нежности к нему. Наши души, чувствуя значительность и неповторимость момента, взмывают куда-то ввысь... А на сковородке горит масло, над блином поднимаются клубы дыма и, словно облаком, обволакивают нас...



ВСТРЕЧА С ПРОШЛЫМ
(ВМЕСТО ЭПИЛОГА)

Разбежались с севера, разметались на побережье Аппалачские хребты и упали невысокими отрогами почти у волн Атлантики. На двух из них, самых крайних от океана, расположился Вест Оранж - типичный городок одноэтажной Америки, всего сорок четыре тысячи населения. Четверть его территории приходится на площадки для игр в гольф и парки с прудами и зоологическим садом. На вершине горы - заповедник с поэтическим названием Орлиная Скала. Отсюда в ясную погоду виден Нью-Йорк - по ночам он искрится перемигивающимися огненными столбами своих небоскребов.

В более старой части городка ветви кленов и дубов сплетаются между собой в темные туннели. Улицы смело и прихотливо вьются по склонам. Они проложены по тропам индейцев племени Ватчунг первыми пуританами, пришедшими сюда с Робертом Тритом и приобретшими эти земли в 1666 году.

Вест Оранж, несмотря на свою провинциальность, имеет много достопримечательностей, обеспечивающих ему важное место в истории. Здесь жил и работал в своих лабораториях с 1887 по 1931 год гений человечества, называемый чародеем, Томас Альва Эдисон. Он, помимо множества других очень важных открытий, изобрел электрическую лампочку.

Это мой город. Я люблю его. В нем выросла моя дочь Оленька. Теперь она уже окончила университет, получила степень магистра, вышла замуж и имеет двоих детей. Я же приобрела новую профессию - судебной переводчицы. В Вест Оранже мы с мужем провели много счастливых лет и нашли добрых друзей. Но здесь меня постигло и тяжелое горе - смерть моей горячо любимой матери.

Я часто путешествую и, будучи в Европе, посетила некоторые давно знакомые места, упомянутые прежде в моих мемуарах. Хочу кратко описать вынесенные мною о них впечатления.

ИТАЛИЯ

Утром мы пересекли горы Лигурии, и теперь уже давно за окном тянется приморская равнина Тосканы. Со мной в машине Ольга, моя дочь, зять и четырехлетний внук Филипп. У меня на коленях его золотистая головка. Щечки его разрумянились. Он сладко спит.

Когда впереди показались предгорья Апеннин, сердце у меня дрогнуло, я узнала местность, где была во время войны, - по этой самой дороге мы ехали с Жоржем, моим погибшим мужем. Его загорелая, сильная рука время от времени дотрагивалась до моей на сидении...

Вот и курортный городок Баньи. Мы решаем остановиться на элегантной вилле "Маргарита". Там, где когда-то у ворот ходил эсэсовец-часовой, теперь в вазонах растут олеандры, и на клумбах благоухают цветы.

Ни свет ни заря я собираюсь шаг за шагом осмотреть знакомые улицы. Местные жители росли вместе со временем, старели, свыкались с переменами, а я здесь чувствую себя как обломок прошлого, заброшенный в новую эру.

Совсем рядом красуется обновленная к началу туристского сезона вилла "Стелла" (бывшая главная квартира О.Т.). Школу я не сразу узнаю из-за монументальной пристройки. Поврежденный при бомбежке палаццо снесен. На доме Роберто - мемориальная доска с его именем, датами рождения и смерти: "Пал жертвой немецких захватчиков..."

- Синьор, вот у этого Роберто, - указала я на вывеску проходящему мимо старику, - была невеста. Ее звали Бьянкой. Не знаете, что случилось с ней?

- Это было давно, синьора, - наморщил он лоб, припоминая. - Да, да, Бьянка. Ее года два держали в больнице, а потом она постриглась в монашки в Вольтерре.

- А тетка Роберто - Лея?

- О, та давно умерла.

Поблагодарив, я прошла возле дома, где когда-то жила. Нашла знакомый скверик. В нем на каменных скамейках появились трещины; деревья постарели. Я сажусь на одну из скамеек и мысленно погружаюсь в воспоминания: я снова с чемоданами ожидаю машину с Георгием, с нежностью думая о нем...

- Вот ты где! - возвращает меня к настоящему заботливый голос. - А мы тебя везде ищем.

Передо мной стоит молодая красивая женщина, дочь того человека, кого я тут в сквере мысленно только что ожидала, кого уже давно нет в живых. Рядом с ней - высокий мужчина с мальчиком на руках, а за ними поднимается "наш" холм. Над ним румянится утреннее небо. По всему косогору, как и когда-то, полыхают алые маки. Они мне теперь кажутся капельками крови, иногда сливающимися в небольшие озерца.

ГЕРМАНИЯ

Река Эмс неторопливо струится по равнине Вестфалии к Северному морю. К ее берегам то там, то здесь прильнули небольшие опрятные городки. Один из них - Гревен. В нем прошли мои университетские годы, в нем осталась часть моей жизни. Я весенним днем приехала сюда после долгой разлуки на встречу с прошлым и в надежде найти подругу-землячку Ию Нелль.

Воздух пропитан солнечным великолепием. Я схожу с поезда и, прикрыв ладонью от ярких лучей глаза, жадно рассматриваю окрестности. Вон из-за деревьев проглядывает крыша отеля "Неттман" ("Менса Академика"), общежития для иностранных студентов, учившихся за 30 километров отсюда, в Мюнстере. Возле самой станции возвышается огромный корпус фабрики одеял с крупной надписью "Бидерлак". Это - источник достатка местного населения. С Бидерлаком-младшим я училась на экономическом факультете. А дальше за рекой небрежно разбросаны домики под черепичными крышами, словно кораллы по изумрудному лугу. В мою бытность часть города бы-

ла превращена в лагерь для "перемещенных лиц". В неопрятных палисадниках играли дети, сушилось белье на веревках, развевались национальные флаги. Среди них встречался и красный, советский. Наяривала гармонь. Ходили буйные парни с красными повязками. Полуголодные немцы сетовали на свое горестное существование. *Ausländer* (иностранец) было бранным словом. А теперь немцы веселые, приветливые. Чего им не быть такими? Проиграли войну, а Америка (бывший враг) поставила их на ноги. Совершилось экономическое чудо. Несмотря на десять процентов безработных, страна цветет и наслаждается неслыханным благополучием.

- Везите меня в отель "Неттман", - даю я указание таксисту.

- Отель "Неттман" закрыт, - отвечает он мне. - Отель снесут - будут расширять дорогу. Я вас отвезу в город.

На повороте блеснуло окнами наше общежитие. Сколько раз я ходила здесь? Но вот одно мое воспоминание затмевает все остальные. И я ныряю в прошлое, словно в четвертое измерение...

Накануне я и несколько студентов получили повестки от военного коменданта Томаса явиться к нему в лагерное управление УНРРА*. Вызов - предвестник несчастья, так как ведется ожесточенная кампания по вылавливанию коллаборационистов и советских граждан для насильственной репатриации. Приуныли наши латыши, бывшие офицеры вермахта. В столовой отеля исходит слезами над чашкой эрзац-кофе егозливая хохотушка из Смоленска. По дороге в УНРРА мне встречается беременная харьковчанка, по бывшему мужу синьора Беллини. Она вся нервно дергается и держится за огромный, как арбуз, живот: "Пропали мы, ведь Томас докопается, что мы из Советского Союза". Напуганная ею, я, липовая полька, бегом возвращаюсь в общежитие и убеждаю Хенрика Каганца, председателя студенческого комитета, пойти со мной. А он,

---

* УНРРА - United Nations Relief and Rehabilitation Administration - Управление Объединенных Наций по пособиям и реабилитации. Эта организация заботилась о "перемещенных лицах".

действительно, выглядит импозантно в английской военной форме, с лихо выбившимся чубчиком из-под берета.

- Пусть пани не беспокоится. Я подтвержу, что пани польская студентка, - успокаивает он меня, стучащую от страха зубами...

Таксист тормознул. Исчезает Хенрик, а вокруг город в душном яблоневом и каштановом цвету. Дорогу нам преграждает праздничное шествие.

- *Schützenfest*, - объясняет таксист. - Стрелковое объединение празднует свой сто десятый юбилей, а вон, видите, король и кайзер - наилучшие стрелки.

Я смотрю на торжественно блещущие, увешанные орденами и медалями мундиры, на шляпы с перьями и матроски музыкантов, и мне на ум приходит мысль: вот уж неукротимый народ эти немцы, даже в развлечениях у них военщина.

Пропустив колонну, мы сворачиваем на другую улицу и останавливаемся перед зданием... (не верю своим глазам) совсем похожим на управление УНРРА. Правда, перед ним больше не реет английский флаг, а растут четыре молоденьких деревца, украшенных голубыми и белыми цветами и лентами.

- Я вам сказала отель, - протестую я, все еще не вполне выйдя из четвертого измерения.

- Это и есть отель "Колпингхауз", единственный в городе, - отвечает таксист. Я иду к хозяйке, типичной раздобревшей хаузфрау.

- Сейчас *Schützenfest*. Поэтому осталась лишь одна комната на двух человек, - говорит она.

-Я беру этот номер. Что было в этом здании после войны? - стараюсь я убедиться в своем предположении.

- Не знаю, мы купили отель гораздо позже.

- Здесь жил и работал комендант Томас - настоящая сволочь, - говорит проходящий мимо пожилой господин.

Хозяйка ведет меня на второй этаж. На широкой площадке поворот направо и несколько ступеней вверх. На этой лестнице я когда-то споткнулась под цепким взглядом советского офицера и спряталась за Хенрика... Хозяйка открывает дверь - узнаю бывший кабинет Томаса. И мне как бы издали слышится голос коменданта, обращенный к Хенрику:

"Подождите за дверью, она за себя сама может ответить". В то время на стенах висели портреты короля Георга VI и Черчилля, под ними - полки с книгами. Теперь здесь две кровати с горбатыми снежно-белыми перинами. Оставшись одна, я еще долго смотрю в окно, на крышу соседнего дома, как и тогда, в критические минуты моей жизни... Это было давно. Теперь я - американка. Стараюсь перевести мысли на подругу, которую начну искать завтра. Ее мать хоронил священник Рот. Ему, наверное, что-либо известно об Ие...

Золотистое солнце покрывает, точно лаком, свежую молодую листву. К священнику еще рано. Решаю прогуляться через реку к отелю "Неттман".

Старик-отель стоит на углу. Все так, как было, только отсутствует вывеска "Менса Академика". За запертой дверью - гнетущая тишина. И былые годы сначала зыбко, как тени, а потом все яснее возвращаются ко мне. Наш "Ноев ковчег" оживает и гудит, будто пчелиный улей, многоязычными голосами.

Вон и мое окно. В нем как будто проглядывает мое лицо тех лет. Глаза мечтательно устремлены вдаль. Я заглядываю через стекло в пустой холл. По субботам там устраивались вечера самодеятельности. В этой мешанине незрелых талантов всегда звездами блистали Мирон Ковальчук и Владислава. Девушка в национальном костюме, высокая, тонкая, с гривой густых, разметавшихся по плечам темных волос, исполняла с огненным темпераментом народные песни. Почти все наши мужчины были в нее влюблены. К вздыхателям Владиславы присоединялись и немцы. Среди них - Курт Вебер. Он, следуя влечению сердца, упрямо ухаживал за ней, и девушка как будто даже некоторое время благоволила к нему... Где они все теперь? Многие уехали в Америку, некоторые поляки возвратились на родину. Разбрелась, рассеялась по всему свету наша студенческая братия...

Город, украшенный на *Schützenfest*, плывет мне навстречу. Новые дома, новые дороги, асфальт и керамические плитки вместо щербатого булыжника.

Из-за ограды и зелени выглядывает "Белый дом", роскошная вилла местных магнатов Бидерлаков. Может быть, мой

давний сокурсник знает что-либо о наших студентах? Зайти, спросить? Но вспомнив, как надменно держался с нами этот зазнавшийся очкарик, я прохожу мимо виллы. Возле церкви мне в глаза бросается металлическая табличка на доме: "Адвокат Курт Вебер". Поклонник нашей Владиславы, кудрявый, статный юноша, приветливый и общительный в отличие от своего друга Бидерлака. В памяти остались слова, когда-то с возмущением сказанные Владиславой: "Вообрази только, Курт признался мне, что если бы отец узнал о его увлечении иностранкой, он бы его убил. Поэтому он меня не пригласил на свой день рождения. Видеть его больше не желаю".

Открываю дверь. В просторном кабинете, обставленном тяжелой кожаной мебелью, за столом сидит по-домашнему уютный, совсем незнакомый мне седовласый человек. Но светлые живые глаза те же. Представляюсь. Он склоняет голову немного набок, словно прислушивается к прошлому.

- Помню, помню, коллега. К сожалению, отца Рота перевели. Я ему обязательно напишу. - Он звонит новому священнику, но тот уехал по делам в Дюссельдорф. Следующий звонок к Неттманам.

- Старый Неттман умер семь лет назад, - объясняет Курт, - я говорил с его сыном, который со своей семьей (у него три дочери) и матерью живет в соседнем городе. Они о ваших студентах ничего не знают. - Потом он расспрашивает о моей жизни.

- А вы женаты? Дети? - интересуюсь я.

- Нет, до сих пор холостяк.

Я опять невольно вспоминаю Владиславу. Не остался ли он холостяком из-за несчастной любви?!

- А как ваш друг Герман Бидерлак?

- О! С ним случилась трагедия. Помните, его отец умер в 1947 году, а Герман, окончив университет и став деловым партнером своего консервативного дяди, начал вводить разные новшества. Пошли ссоры. И однажды на фабрике дядя убил его наповал двумя выстрелами - в голову и в спину.

- Дядю, конечно, судили?

- Убийцу посадили в сумасшедший дом в Мюнстере. Через год он выбросился из окна. А фабрика сейчас принадлежит брату Германа.

Назавтра Курт везет меня на своем "мерседесе" в другой город к нашим общим с Ией знакомым. Но и там ничего не знают о ней.

Подругу я все же нахожу после того, как появился этот очерк в эмигрантской прессе. Прочитав его, знакомая Ии Нелль из Нью-Йорка написала мне письмо и через друзей в Швеции достала ее адрес. Я Ию посетила уже несколько раз в Эссене (Германия), где она живет со своим сыном Робертом. От нее я узнала, что Зельма вышла замуж за своего земляка, эстонца, и до сих пор находится в Мюнстере, а Гражина и Хенрик переселились в Чикаго. Мне написал также через газету Глеб Глазеров, переехавший с женой и сыном из Бразилии в штат Нью-Джерси.

СВИДАНИЕ ЧЕРЕЗ ПОЛВЕКА

Возбуждение ни на минуту не покидает меня, когда мы приземляемся в аэропорту Борисполя. Да и понятно, мне первый раз после разлуки, продолжавшейся полвека, предстоит ступить на землю родины.

До Киева ведет отличное асфальтированное шоссе. Говорят, его построили американцы по заказу Брежнева.

Вот и мой чудный город на холмах, в цвету каштанов, - таким он навсегда остался в моей памяти. Конечно, за годы моего отсутствия он непомерно разросся, и его окраины мне ничего не говорят - здесь ряды высотных зданий, некрасивых коробок шестидесятых годов, возведенных при Хрущеве, и более благообразные постройки брежневских времен. В собственных домах сейчас живут всего пять процентов киевлян. Но ближе к центру пошли знакомые улицы, и на меня нахлынули воспоминания. В начале бульвара Шевченко, где густая тополевая аллея взбегает на горку, высится, как и в мою бытность, монументальный памятник Ленину. С Ильичем (как позже в Питере - с кровавым Дзержинским) я не предполагала встре-

титься после событий последних лет. Наш гид Лидия, усталая на вид женщина, как бы прочитав мои мысли, объясняет:

- Скульптор Меркуров за этот памятник получил на выставке в Нью-Йорке в 1939 году награду - золотую медаль. Поэтому памятник оставлен как произведение искусства.

Кстати, советская эмблема труда - серп и молот - встречается еще на каждом шагу. "Серп и молот - смерть и голод" - вспоминается поговорка сталинских времен.

Находясь в Киеве, как не пройтись по Крещатику, заново отстроенному после войны. Раньше его разрушение приписывалось немцам, теперь же говорят правду: он был взорван минами, заложенными перед отступлением Красной Армии. На Крещатике множество прохожих. На скамейках отдыхают люди. А вот собрался кружок зрителей - там художник рисует портреты за пять долларов. Посреди тротуара на картоне надпись: "Ветеран советских войск в Афганистане". И вот он сам - безногий парнишка на тележке с кружкой в руке для подаяния - еще одна исковерканная жизнь. Поодаль группа музыкантов, окруженная толпой, исполняет популярные песни, среди них есть и американские.

Наших знакомых я не нашла: времени у меня мало, да и они все друзья моих родителей в очень пожилом возрасте. Я же выехала из Киева еще ребенком.

Посетила я и дом на Тарасовской улице, в котором родилась. В нем входная дверь и лестницы с чугунными узорными перилами еще подлинные.

Мне довелось побывать в самом центре Украины - в Черкасской области, где я пошла в первый класс. В город, являющийся целью моего путешествия, мы въезжаем новопроложенной дорогой. Совсем чужая мне улица. Но вот - переезд через железнодорожное полотно.

- Остановитесь! - кричу я водителю и выскакиваю из машины, узнав здание с большими окнами - мою школу. Еще рано, и дети только начали собираться небольшими группами во дворе. А я уже мчусь по коридору мимо двери учительской. Стены в рост человека светло-кофейного цвета (когда-то были голубые). Вот и мой класс. Он кажется мне теперь таким маленьким... Много лет назад первого сентября мама привела ме-

ня сюда. Вижу себя стеснительной девчушкой в клетчатой юбчонке, белой блузке и с волосами, подстриженными челкой. Здесь состоялся первый экзамен в моей жизни - по чтению, на основании которого меня зачислили в класс А (один из четырех первых классов)...

- Вы кого-то ищете? - слышу я женский голос.

- Я ищу свое прошлое - я здесь училась, - отвечаю.

У моего кузена собрались все родственники - те, с которыми я давно рассталась, и молодое поколение, некоторые в присланных мною джинсах. За эти годы разрослась моя семья. Кузина Мария привезла мне в подарок целый ящик персиков из Симферополя. Не буду описывать этой незабываемой встречи и разговоров, интересных только нам, не посторонним. Но самый эмоциональный момент моей поездки - это посещение могилы отца, которого мы с мамой долгое время считали погибшим. Так и не удалось нам с ним повидаться. И вот сейчас я могу первый раз возложить цветы на его могилу...

Я побывала также у подруг: Рая окончила педагогический институт и все эти годы проработала учительницей. Она давно на пенсии. У нее сын, уже женатый, и муж - военный офицер в отставке. У Веры тоже дети, она недавно овдовела. Жанна несколько лет тому назад умерла. Я говорю с подругами очень долго - и о тех, кто не вернулся с войны, как Борька, и о тех, кто здравствует. В следующий раз мое посещение будет более продолжительным. Но я не нашла Тани Левицкой. Никто не знает о ее судьбе, так как она после войны переехала далеко отсюда.

Как и когда-то, за городом возвышается Юрьева гора. На старом месте базарная площадь и даже памятник Ленину. Помню, в голодном 1933 году ему на протянутую руку кто-то повесил пустую кошелку с надписью: "Ленин стоит в очереди за хлебом". И за это несколько человек были арестованы.

А вот и наш дом. Знакомая, теперь старая яблоня, которую я когда-то посадила с папой, приветствует меня шумом листвы. Дом долгое время принадлежал городу - в нем чужие люди. Все на работе, кроме старухи. Она приглашает меня войти. И опять мое сердце заныло. Так явственно вспомнился наш семейный уют и моя милая мама, которая лежит в американ-

ской земле... Когда я фотографирую дом, ко мне подходит крупный мужчина с проницательными темными глазами.

- Петр Сергеевич! - узнаю я соседа, он почти не изменился. Но я не учла, что уже прошло пятьдесят лет. Оказалось: это соседский сын Анатолий, почти мой ровесник, сейчас уже пенсионер.

Обращает на себя внимание возвращение к родному языку, на котором все дорожные указатели и вывески. Интенсивность украинизации зависит, по-видимому, от местной администрации, например, в Золотоноше было четыре украинских и четыре русских школы. А теперь русская только одна.

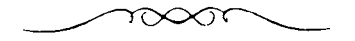
Базары и магазины процветают - в них все есть. И хотя цены в переводе на доллары почти те же, что и в Америке, но у людей нет денег. Хуже всего приходится пенсионерам. Чтобы прокормиться, горожане выращивают овощи на приусадебных участках. В сараях всюду птица, кролики, свиньи. Одним словом, Украина вернулась к сельскохозяйственному образу жизни. Некоторые фабрики и заводы остановились за неимением сырья и заказов. Какую-то активность проявляют иностранные фирмы, но не в такой мере, чтобы оживить экономику страны.

Сейчас вся Украина готовится к тяжелой зиме, так как в этом году урожай зерновых оказался значительно ниже предполагаемого (всего 37 миллионов тонн вместо ожидаемых 44). Зато в садах изобилие. Возле каждого дома сушатся на солнце фрукты, ягоды и грибы.

Мне пора возвращаться в Киев: завтра моя группа уезжает в Москву.

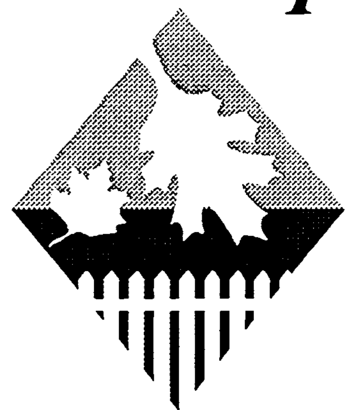
Я так боялась, что за годы разлуки с отчизной совсем отошла от своего народа, что у меня с ним не окажется общего языка и мы не поймем друг друга. А случилось, однако, другое: и на Украине, и в России я везде встречала не отчужденность или враждебность, а теплоту и доброжелательность. И это в такое тяжелое время, когда страна проходит - на пути к новой системе экономики - через коренные и очень болезненные изменения.

Помоги им, Господи, преодолеть все эти трудности!



II

Рассказы разных лет





МЕДАЛЬОН

Людмила собиралась на интервью в надежде получить работу, которая была ей жизненно необходима: пособие по безработице кончалось, а ее дочь Аллочка осенью пойдет в колледж - деньги будут очень нужны. Она подошла к шкафу и задумалась: что ей надеть? - "Так важно первое впечатление. Нет, не эту, - отодвинула она крайнюю блузку, - большое декольте... и не эту - слишком нарядная". Остановив свой выбор на розовой с воротничком, которая хорошо сочеталась со светло-серой юбкой, она перед зеркалом чуть взбила короткие русые волосы, умеренно подвела губы и осталась довольна собой: стройная, румяная, голубоглазая, она несомненно выглядела гораздо моложе своих сорока шести лет. Не забыть бы только медальон на *good luck* - на счастье, как говорят американцы. Нет, Людмила не была суеверной. Ее не пугал черный кот, перебегающий дорогу, и, конечно, она не верила ни в ведьм, ни в колдовские заговоры, ни в чудодейственное зелье. Ей вообще не была свойственна мистика. Но с медальоном дело обстояло иначе. Мысли Людмилы унеслись далеко-далеко отсюда, в другой мир...

Этот небольшой золотой медальон с миниатюрным портретом ее кумира Пушкина - подарок матери - она бережно хранила и постоянно носила на груди. Людмила уже давно потеряла мать, потом пережила неудачное замужество и развод, бытовую трясину провинции, немало испытаний и неудач на родине, связанных с выездом в Америку. Все, что было мило и дорого сердцу, - близкие, друзья, родной город, любимые предметы - ушло навсегда. Из прошлого остался лишь один-

единственный медальон. А на этом берегу одинокой женщине с ребенком пришлось тоже нелегко: непривычный, неудержимо-быстрый темп жизни, непроходимые дебри чужого языка, муки его произношения, изучение новой профессии - бухгалтерии, да мало ли на пути эмигрантки сложностей и препятствий. И всегда, когда у нее было горько на душе или она находилась на распутье, рука невольно тянулась к медальону. В памяти возникало дорогое, доброе и незабвенное лицо матери, и это придавало ей силы бороться со всеми невзгодами, вселяло уверенность. Она как будто прикасалась к незыблемой скале среди бурного моря.

Лишь только Людмила открыла входную дверь, ей в лицо ударила струя удушливого горячего воздуха и оглушил резкий визг полицейской сирены. Солнце, полыхая раскаленным диском высоко в безоблачном небе, ожесточенно жгло крыши домов, плавило асфальт. Несмотря на жару, улица была многолюдна и шумна. Когда впереди замаячили деревья парка, женщина, предвкушая прохладу, ускорила шаг. А там оказалась какая-то праздничная толпа. Большинство - черные. Везде красовались плакаты и транспаранты; на лотках были кипами нагромождены газеты, листовки, брошюры. Где-то задушевно звучала гитара. Егозливые, улыбчивые девицы с круглыми копилками в руках собирали пожертвования. К ней подошла одна из этих пленительных смуглянок с золотой крапинкой на крыле носа.

- По какому случаю праздник? - спросила Людмила.

- Фестиваль черной культуры, а мы собираем деньги на детей-сирот. Вон там, - девушка указала на большой стенд у пересечения дорожек, - портреты наших выдающихся спортсменов, артистов, писателей и духовных руководителей.

Людмила бросила пару монет в копилку, и девушка легкой стремительной поступью уже направлялась к другому прохожему.

Возле стенда, установленного на траве с одуванчиками, трудолюбиво возился с каким-то ящиком молодой мужчина в очках и полосатой рубахе, по-видимому, один из устроителей фестиваля или гид. Людмила, замедлив шаг, скользнула глаза-

ми по портретам-фотографиям. Все черные лица: мировой чемпион по боксу Майк Тайсон, его бывшая жена Робин Гивенс, Сэмми Дейвис младший, музыкант Луи Армстронг и, конечно, Мартин Лютер Кинг... Но вдруг ее взгляд зацепился за один из крайних портретов, заставив остановиться в изумлении: знакомая кудрявая голова, густые бакенбарды... Уму непостижимо! Да это же Пушкин! На черном фестивале в американском городе - его портрет, - недоумевала женщина. Но что же здесь удивительного, если вспомнить происхождение поэта? Ее скорее поразило то, что родословная Пушкина известна местным черным. "Ну, уж никак не ожидала увидеть здесь Пушкина", - прошептала она и дотронулась рукой до медальона. Ее все больше охватывало волнение и желание во что бы то ни стало поделиться с кем-нибудь своим открытием. Она поспешила было к прежде замеченному ею у стенда распорядителю, но ее опередила группа японских туристов.

Возле Людмилы, чирикая, как стайка птиц, стояла веселая ватага черной молодежи. Женщина вытянула медальон изпод блузки (в городе, чтобы не соблазнять хулиганов, она его всегда прятала) и, открыв створку, показала портрет поэта стоящему рядом с ней юноше.

- *Look* - посмотрите сюда, у меня в медальоне Пушкин, великий русский поэт... Александр Пушкин... Вы слышали о нем? - сбивчиво объясняла она.

Имя поэта, видимо, ничего не говорило молодым людям. Одни из них отсутствующим взглядом, другие простодушно-безразлично смотрели на незнакомку с медальоном, а стоящий рядом парень солидно сплюнул в сторону. Лишь кокетливая девица с множеством дробных косичек, закрепленных на концах голубыми бусинками, глянув на портретик, спросила:

- О! Это ваш *boyfriend*? *Nice looking man*, - похвалила она и хохотнула с легким захлебом.

- О, нет! Это не мой *boyfriend*. Этот человек давно умер... Вернее, он был убит еще в прошлом столетии. Вон его большой портрет, - указала Людмила на стенд.

И сразу молодые люди заинтересовались своим замечательным соплеменником, портретик которого носит у себя на груди белая женщина. Посыпались вопросы:

- Он погиб на войне?.. Кто его убил?.. За что?..

А бородатый верзила с колючими глазами и независимым лицом заявил авторитетно:

- Белые люди его убили. Белые всегда убивают выдающихся черных. Они не любят нас.

- Что за чепуха! - возразила ему Людмила. Внутренний голос теперь настоятельно подсказывал ей, что она обязана рассеять это глупое расистское подозрение и поэтому должна рассказать правду о гибели поэта. Она посмотрела на часы - до интервью еще оставалось много времени. Ее плотно окружили со всех сторон. Многие хотели взглянуть на портрет, но цепочка была слишком короткой. Ей душно дышали в лицо и толкались. Медальон пришлось снять. Юноша, к которому она обратилась вначале, с милой улыбкой протянул за ним руку и, как бы взяв шефство, стал услужливо показывать всем желающим. Людмила, не теряя парня из виду, рассказывала, как прадед поэта попал из Эфиопии в Россию, как царь Петр I полюбил его за ум и расторопность и позднее сосватал своему любимцу русскую девушку-дворянку. Затем она переключилась на самого поэта, его жену-красавицу Наталью Гончарову и дуэль с Дантесом.

- Скажите, пожалуйста, что написал этот Пушкин? - послышался робкий голос слева от нее. Он принадлежал неказистой маленькой девчушке с широким разлетом бровей и с глазами слегка навыкате.

- Он писал много: стихи и прозу, - замявшись, обобщила Людмила, уверенная в том, что никто из этих молодых людей не знаком с творениями великого мастера, но все же назвала самые популярные из них в Соединенных Штатах, - "Евгений Онегин" и "Борис Годунов"...

- Эти вещи шли в Нью-Йорке, в Метрополитен опере, - воскликнула застенчивая девочка и с одухотворенным лицом стала напевать мелодию из "Евгения Онегина". Людмила с крайним любопытством повернулась к ней и обменялась

несколькими словами, но вдруг она интуитивно почувствовала, что юноша с медальоном исчез. И действительно, парня поблизости не оказалось. В отчаянии она спрашивала:

- Где юноша, который стоял вот здесь, рядом со мной? Он держал медальон... Где он?

Она пробежала взглядом по лицам толпы, но его нигде не было видно, и никто не знал, куда он ушел. Кровь стремительно застучала у нее в висках. Мысли путались в голове. Паника все больше охватывала женщину. Она побежала неровно и растерянно по дорожке, нетерпеливо расталкивая локтями людей и впиваясь глазами в каждого встречного. Но, как известно, любому человеку - будь то африканец, европеец или азиат - трудно различать отдельных представителей другой расы. Когда невдалеке вырос коренастый, рыжий и усатый полицейский, у нее вспыхнула искра надежды: он поможет ей найти управу на подлого воришку. Людмила бросилась к нему, но тут же остановилась, соображая: как описать правонарушителя? Ведь в парке множество черных юношей с ровными проборчиками и в белых майках. Она даже не заметила, какой на его майке рисунок. Искать его среди толпы было тщетно, как иголку в сене. Да и стрелка часов приближалась к двум - не хватало бы еще опоздать на интервью. Теперь она уже реально считала свою утрату окончательной. Медальон, подарок матери, потерян для нее навсегда. Безнадежно махнув рукой, Людмила почти бегом направилась к улице. Ее душили слезы.

- *Ma'am, ma'am!* -услышала она позади топот. - *Ma'am!* - прозвучало почти над самым ухом.

У Людмилы екнуло сердце. Перед ней шустро выскочил, тяжело дыша, молодой человек, которого она искала.

- Вот ваш медальон, - учтиво протянул он ей драгоценность, сверкнувшую на солнце бликами. На его красивом приветливом лице играла очаровательная улыбка. Женщина ошеломленно смотрела на парня, преисполненная радости и благодарности. Уже не владея собой, она громко расплакалась.

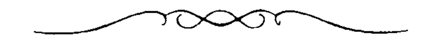
Юноша понял, что его заподозрили в воровстве, и смутился.

- *I'm very sorry, ma'am,* - в замешательстве топтался он перед ней. - Я везде показывал медальон, - оправдывался он виновато, - я хотел, чтобы все мои друзья узнали о вашем... о нашем Пушкине, знаменитом русском поэте. А когда вернулся, не застал вас на прежнем месте. Вы ушли. *Very sorry, ma'am...*

"Какой порядочный, хороший мальчик", - думала Людмила.

Обменявшись адресами, они расстались как самые добрые друзья. Но на душе у нее был мутный и неприятный осадок: она незаслуженно, пусть только мысленно, обвинила честного человека в преступлении.

Обеденный перерыв кончился. Толпа уже отхлынула. Людмила быстро шла по тротуару. На груди у нее снова был медальон-амулет, и это давало ей уверенность в том, что интервью будет удачным и она получит желанную работу.



В САБВЕЕ

Поезд сабвея с грохотом мчался сквозь вечную ночь нью-йоркского подземелья, то резко дергаясь на поворотах, то, при потере скорости, сотрясаясь мелкой дрожью. Пассажиры сидели мирно и степенно, в полудреме, с безразличными или скучающими лицами. Только молодая парочка у двери (студенты, судя по книгам) не пребывала в этой ленивой нирване. Он, крупный увалень с бородой и пестрым клетчатым шарфом на шее, властно обнимал узкие плечи подруги, а она, маленькая и хрупкая, сидела, раскрасневшись от счастья. Ее острый носик вспотел, шустрое личико под меховой шапочкой напоминало потешную мордочку лисенка.

Когда от внезапного толчка вагона дремавший напротив старик в кепке поднял на них глаза, ей, оказавшейся в поле зрения случайного свидетеля, стало неловко. Слегка отстранившись от своего спутника, она громко сказала, указывая на стены:

- Ты только посмотри, я раньше мало обращала на них внимания.

- На что?

- На все эти граффити.

- Ну и что?

- Некоторые из них сделаны с дарованием, со вкусом. Глянь, вон те даже очень красивы.

- Это ты красивая, радость моя. - Опять притянув девушку к себе, он поцеловал ее в приоткрытые губы.

Она покосилась на старика, тот дремал. Парень еще настойчивее прижал ее к себе; они бездумно, бессмысленно смотрели на граффити, ощущая лишь опьянение от взаимной близости.

На одной из остановок в вагон ввалилась толпа в кожаных куртках, и царившее доселе безмолвие кончилось. Два негра с блестящими цепочками на шеях, стараясь перекричать друг друга, спорили о преимуществах разных марок мотоциклов; белобрысый длинный парень с косицами до плеч что-то пел, а низкорослый юноша-пуэрториканец с серьгой в ухе пританцовывал, гримасничая и вихляясь.

Глаза пассажиров, сразу очнувшихся от сонливости, устремились настороженно и подозрительно на вошедших. А те стали задираться и приставать к публике. Им никто не давал отпора.

Пуэрториканец, остановившись напротив девушки, оглядел ее оценивающим взглядом и, задорно сверкнув черными глазами, воскликнул:

- Эй, *man*, какая у бородача краля, ну просто с киноэкрана! *Hello, baby!* - Смеясь, он похлопал ее по шапочке. Испуганная девушка еще крепче прижалась к своему спутнику.

- Оставь! Уйди! - строго бросил пуэрториканцу студент. Тот отошел.

Этим бы все и кончилось, если бы не белобрысый.

- А ты и хвост поджал, сдрейфил, - подстрекнул он пуэрториканца. - Эх ты горе-герой!

Пуэрториканца задело за живое. Он нервно потоптался на месте, злобно засопел, а затем неожиданным рывком вынул правую руку из кармана. Что-то щелкнуло, в его руке блеснуло лезвие ножа.

- Ну, скажи теперь, чтобы я уходил! - приступил он вплотную к сидевшей в обнимку паре. Студент повторил:

- Отстань! Уйди!

В его голосе была нотка растерянности, и пуэрториканец успел ее уловить.

- Сам убирайся! Дай мне посидеть возле твоей крали. *Out!* - с нарастающей яростью закричал он.

Парень, выпустив из объятий девушку, встал, и она, ожидая схватки, заволновалась. Но ее защитник, нерешительно пожевав губами и как-то весь сжавшись, ретировался в дальний конец вагона под издевательский смех и свист юнцов. Девушку,

лишившуюся своего покровителя, охватил страх. Вскоре, словно трассирующие пули, за окнами замелькали огни станции. Сцепы вагонов, однако, продолжали ритмично и гулко лязгать, экспресс не остановился. У студентки вспыхнувшая было надежда угасла. Ожидать помощи было неоткуда. Сидевшая наискосок женщина отвернулась к окну, старичок закрылся газетой, другие пассажиры притворились спящими.

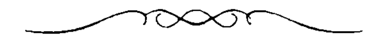
Хулиганы окружили девушку. Пуэрториканец, плюхнувшись на освободившееся рядом с ней место, пытался ее поцеловать. Белобрысый хватал за плечи. Один из негров гладил колено. Девушка в отчаянии отталкивала от себя настойчивые руки с грязными ногтями, чужие страшные лица, от которых несло алкогольным перегаром и марихуаной.

Прошло всего несколько минут, показавшихся ей вечностью. Все же судьба сжалилась над ней: поезд, наконец, остановился,и в вагон вошли два рослых полицейских. Хулиганов как ветром сдуло.

Девушка не позвала блюстителей порядка. Ее мысли путались, будто в ее сознании образовался какой-то провал. Другие пассажиры тоже угрюмо молчали. Только когда поезд опять двинулся, одна из пассажирок спохватилась, что у нее исчезла сумка. Полицейский сообщил по портативному передатчику о краже. К девушке, все еще находившейся в столбняке, вновь подсел ее спутник и что-то горячо и виновато зашептал. Она, казалось, не слышала его.

На следующей остановке девушка, не взглянув на своего спутника, не успевшего последовать за нею, стремглав выскочила на перрон. Ее глаза застилали слезы. Это еще не была ее станция, но она не могла оставаться в одном вагоне с людьми, не пришедшими ей на помощь, и с трусливым парнем, претендующим на ее любовь.

И теперь всякий раз, когда она видела граффити, в ее памяти всплывали вагон сабвея, ватага хулиганов и воспоминание о первой любви, так неожиданно кончившейся в тот морозный зимний вечер.





МАЛЕНЬКАЯ НЯНЯ

В поле вблизи двух невысоких холмов, покрытых лесом, расположилась коммуна, бывшая до революции немецкой фермой. Ее хлеба могучим потоком докатывались до тихих, заросших травой улиц окраин города. Когда рожь и пшеница поспевали и ветер колыхал их быстрыми, набегающими одна на другую волнами, постройки коммуны казались огромным кораблем, плывущим по золотому бурному морю. Воздух здесь был кристально чист и насыщен кислородом. Дышалось легко и свободно.

В крайнем от поля старом домике под соломенной крышей с двумя подслеповатыми окошками, выходящими на улицу, жили Остропольские. Муж работал смазчиком на станции, и на его скромное жалованье семья из двух взрослых и четырех детей едва сводила концы с концами. Тамара, скромная и тихая девочка девяти лет, была самая старшая. Ее большие серые глаза сосредоточенно смотрели из-под густой темной челки. В них разливались тоска и печаль, когда девочка видела своих сверстников, занятых буйными, требующими быстрого бега играми. Тамара не могла принимать в подобных затеях участия, так как у нее был врожденный порок сердца.

- Врачи тебе запрещают бегать, моя доченька, - говорила мать, гладя ее по головке.

Этими несколькими простыми словами накладывался строгий запрет на самые интересные вещи: игру в "квача", в прятки или в "красных и белых", когда дети делились на две группы и преследовали друг друга в поле до самой коммуны. Запрещались также прогулки в лес и на реку, так как они были слишком продолжительны.

- Тебе нельзя переутомляться, - говорила мать.

А Тамаре так хотелось резвиться с детьми - прыгать и бегать с ними наперегонки. Поэтому ее болезнь казалась ей большой несправедливостью. Она никак не могла примириться с тем, что всю свою жизнь должна будет отказывать себе во всех удовольствиях.

- У меня порок скоро пройдет? - допытывалась она у матери.

- Не знаю, дорогая. Врачи говорили, что, может быть, ты и выздоровеешь, - неуверенно вздыхала женщина, и ее круглое добродушное лицо тускнело.

- И тогда я смогу бегать с детьми? - спрашивала радостно Тамара.

Иногда, увлекшись какой-либо азартной игрой, девочка забывала о своем пороке и присоединялась к ребятам. Запреты врача забывались, но само сердце подсказывало ей остановиться. От бега оно как бы начинало расти, заполняло собой всю грудную клетку, и его глухой тревожный стук отдавался громко в ее ушах. Бедной Тамаре оставались лишь спокойные, менее привлекательные игры, как кремешки, "испорченный телефон", "кольцо" и, конечно, куклы. Возможно, из-за таких ограничений она с мучительной нежностью привязалась к своему младшему братику Толику. Со дня его рождения между ними установилась крепкая и взаимная любовь. Младенец, увидев старшую сестру, протягивал к ней свои маленькие ручонки, напоминающие собой молоточки с тонкой ручкой, и блаженно улыбался. Тамара кормила его, поила, одевала и купала. Она была ему нужна, и это она своим детским умом понимала. Отец сделал для малыша колясочку, и девочка не расставалась с Толиком даже на улице.

- У вас не дочка, а ангел, - не могли нахвалиться соседки. - Вот уже и няня для вашего сына.

- Моя маленькая няня, что бы я только без нее делала? - гордо соглашалась мать.

И так навсегда кличка "маленькая няня" вытеснила ее настоящее имя.

На их улице жил Колька по прозвищу Перец. Этот бойкий, вытянувшийся не по летам сорванец считался лидером це-

лой округи и был инициатором всех затей и шалостей. Лишь иногда он снисходительно разрешал участвовать в своих затеях и девочкам. Но на больную "маленькую няню" он не обращал никакого внимания. Колькина команда состояла из отчаянных головорезов. Мальчишки беспрекословно выполняли все его поручения: выносили ему на улицу то яблоко, то семечки, то для игры колоду карт или лазили через забор за мячом, когда он забивал его в чужой двор. И как было не подчиняться Кольке? - Он мог свистеть лучше всех, заложив в рот два указательных пальца. Его лексикон, как и подобает вожаку, был насыщен словами, употребляемыми, как он выражался, "блатными", например: шпана, фрайер, кореш, на большой, зашухерить и тому подобными. И эти слова произносились им свободно и просто, как будто он действительно принадлежал к шайке самых отпетых хулиганов.

Колька часто организовывал набеги, - то оборвать у кого-нибудь вишню-скороспелку, то смородину в коммуне, - или устраивал поход в лес: разорять гнезда для коллекции яиц. Иногда проводились атаки на проезжающие коммунальные машины. Оружием служили куски кабачков и гнилые помидоры. Несколько раз в кабине грузовика были выбиты окна. Шофер останавливался, чтобы схватить озорников, которых сразу и след простывал. На следующий день по домам ходила милиция, но до сих пор как-то все шалости проходили для Кольки безнаказанно.

* * *

Весной лес на холмах за коммуной покрывался, как пухом, зеленью распустившихся почек. Там под деревьями появлялось множество голубых подснежников. Казалось, что синева неба перелилась через край и обильно покропила прошлогодние листья. Земля под щедрыми ласками солнца нежилась и издавала сильный и волнующий запах. Тоненькие стебельки травы с непомерной для их величины силой тянулись вверх, рассекая собой почву, а листочки на ветках на глазах увеличивались в размерах. Лишь только начинало смеркаться, с полей и лесов в город направлялись рои майских жуков. Воздух оживал, как-

будто шевелился, наполняясь непрерывным жужжанием. Жуки, ослепленные белизной крайних хат, ударялись о стены и падали на землю, чтобы снова расправить крылышки и возобновить свой весенний торжественный полет. Но не тут-то было. Их здесь поджидали дети с жестянками и ведерками. Шло состязание, кто больше поймает насекомых. По команде проворные руки поднимали жуков с земли и бросали в посудки, накрывая чем-нибудь, чтобы они не разлетались. Потом начинался подсчет добычи, этой кипящей живой массы, - выпускали насекомых по одному на свободу. Тамара принимала участие в этих соревнованиях и всегда выходила победительницей, за что ей высказывалось всеми признание, кроме Перца.

- Подумаешь, какая важность, - сплевывал он презрительно на траву.

Но его отношение к девочке изменилось после того, как она вынесла из дома на улицу кинжалик - не настоящий, а для разрезания бумаги.

Она скромно стояла в стороне от детей с Толиком в колясочке, а когда к ней подошла подружка, показала ей игрушку. Колька это заметил.

- Что это у тебя, няня?.. Дай, посмотрю! - скомандовал он.

Девочка протянула ему кинжалик.

- Какая замечательная вещь! - воскликнул Колька после продолжительного рассматривания. - Как блестит, как сияет. Дай мне его! - сказал он, глядя ей прямо в глаза.

Это предложение застало Тамару врасплох, - с кинжаликом она не собиралась расставаться, - он был подарен ей умершей крестной матерью.

- Чего молчишь?.. Зачем он тебе, девчонке? - настаивал Колька. - Ну, даешь?

- Я не могу. Это не мой, папин, - соврала девочка.

- Что твой отец будет с ним делать? Жаб колоть? - насмешливо удивился мальчик.

Все дети засмеялись. Лицо Тамары пошло красными пятнами. Ей стало обидно и боязно: она теперь впадет в неми-

лость к Перцу. Когда мальчик сунул ей злобно в руку игрушку, она быстро покатила колясочку с братом домой.

Но, как видно, Колька не так легко расстался с мыслью быть обладателем этого сокровища и в дальнейшем стал замечать девочку.

Эта весна отличалась от предыдущих весен - остро ощущался недостаток продовольствия. Особенно трудно приходилось детям. Многие болели золотухой и рахитом.

Хиленький от рождения Толик совсем зачах весной. У него перестали резаться зубки.

- Мама, почему у Толика нет зубов? - спросила Тамара.

- От недостаточного питания, детка. Да и витаминов не хватает.

- Что такое витамины?

- Это вещество, которое нужно для организма человека.

- А где это вещество бывает? - допытывалась девочка.

- Во фруктах и овощах.

- Во всех?

- Во всех - в яблоках, помидорах, в салате, морковке... Вот, стояла вчера целый день в очереди у рабкоопа за морковкой, да не хватило. И всего лишь за несколько человек до меня морковка кончилась, - сокрушалась мать. - И день пропал, и ничего не получила, а на рынке у крестьян ужасная дороговизна. Куда нам, смертным, там покупать!

В глазах матери Тамара заметила слезы.

В конце недели начались каникулы в школе. Наслаждаясь заслуженной свободой, ребята шумной стайкой собрались на улице. Появился Колька Перец.

- Кто хочет пойти сегодня вечером со мной в коммуну красть морковку? - подчеркнуто таинственно предложил он, залихватски подтянув латаные штаны.

- Очень рискованно. Везде охраняют, - заметил кто-то.

- Чепуха! - насмешливо сквозь зубы сплюнул Колька. - Больше дыма, чем огня.

Тамара стояла среди детей и чувствовала, как учащенно забился у нее пульс. Она даже не слышала замечания о риске предприятия, затеянного Колькой. Она думала о матери, которой в очереди не досталось морковки, о братике, которому нужны были витамины, и в ее голове созрело дикое решение. Когда "отважный атаман" опять спросил:

- Ну, кто со мной?

- Я пойду с тобой, - громко сорвалось у нее с губ.

- Маленькая няня? - удивился мальчик. - Да ты же и бежать не можешь.

- С сердцем у меня теперь все в порядке, - соврала девочка из-за страха, что ей откажут. - Я перемогла эту болезнь.

Кольке пришла на ум замечательная мысль; на его лице появилось хитрое выражение.

- Нет, ты не пойдешь с нами, - сказал он и отвернулся от нее, начав составлять подробные планы действия с уже согласившимися его поддержать ребятами.

- Перец, возьми меня с собой, - проговорила умоляюще Тамара.

И тогда мальчик заявил:

- С одним условием...

- С каким?

- Если ты дашь мне кинжалик, помнишь, тот, что ты мне показывала. И ты должна дать его мне перед отходом в коммуну.

- Я дам тебе кинжалик, - скрепя сердце ответила девочка после продолжительного колебания.

Вечер подходил быстро, по-деловому выполняя свои обязанности. Он стер последний оранжевый отблеск солнца, и небо стало стекать звездными искрами к горизонту.

В нешкольное время родители мало заботились о том, где пропадают их дети и когда ложатся спать, - не до этого было, поэтому никто не обратил внимания на собравшихся у крайней хаты пятерых мальчиков и одну девочку. У детей коммунальные грядки были облюбованы заблаговременно: они специально сделали в этом направлении прогулку еще днем, чтобы изучить поле действия. Неполная, только что взошедшая

луна освещала им путь. Где дорога поворачивала на коммунальное поле, Колька остановился.

- Смотрите, не сдрейфьте, - проговорил он решительным шепотом. - Кто боится, может еще возвратиться.

Тамара слушала Кольку, в кармане которого была уже ее драгоценность - кинжалик, и по спине у нее прошел холод - она стала членом шайки воришек, членом чего-то не совсем понятного, плохого и давящего этой своей непонятностью. Ее родители никогда не одобряли воровства... Она как бы всю жизнь шла по светлой, ровной и знакомой дороге, а вот теперь перед ней появились зигзаги, уходящие куда-то в темный бор, где было столько неизвестного и опасного. От этого захватывало дыхание, и как никогда ее маленькое тело остро ощущало вечернюю свежесть. Она хотела уже отказаться идти за морковкой, потребовать от Кольки назад свой кинжалик, но в ее мыслях предстал братик с бледным беззубым улыбающимся личиком и с вялыми и слабыми пальчиками, братик, которому очень нужны были витамины. Колька ей бросил:

- А ты еще не оробела, не передумала?

Хотя ее била дрожь, она уверенно ответила:

- Нет, не передумала.

- Главное, - продолжал Колька, - соблюдать порядок. Ты, Витька, - обратился он к пучеглазому сопливому мальчику, - будешь стоять на шухере.

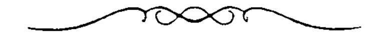
- А как же я нарву морковки, если буду стоять на шухере? - прогнусавил Витька.

- Об этом не беспокойся. Я не смухлюю. Свою долю ты получишь от нас, - успокоил его Перец. - Только не сдрейфь по-дурному. А то получится черт знает что. Фальшивая тревога испортит все дело. Ты дашь нам знать, коль чего подметишь, - свистнешь. Тогда, шпана, смывайся, кто куда может.

Но случилось совсем иначе. Когда дети суетливо рассыпались по грядкам и Тамара ощутила в своей руке махровые прохладные листья морковки, внезапно, будто с неба, и без условленного свиста наблюдателя грянул мужской грозный голос:

- А вот где вы! - и за ним переливчато раскатилось эхо.

Вся грядка закопошилась, ожила, послышался топот детских ног. Тамара впопыхах дернула за ботву, в нос ей ударил ароматный резкий запах морковной листвы, и с морковкой в руке девочка понеслась к городу. Сначала она бежала по полю, путаясь ногами во ржи, потом помчалась по дороге. За ней, стремительно настигая, слышались тяжелые шаги погони. Они то приближались, то удалялись. Пять... десять минут прошли в безостановочном беге. Сердце у нее билось гулко, в груди теснило и не хватало воздуха. Она чувствовала ужасную усталость. Только бы достигнуть первых домов, которые белели в тусклом серебристом свете луны. Дети где-то исчезли в поле. Она осталась одна со своим страхом, и лишь этот тяжелый топот неизменно преследовал ее. Вот он уже совсем близко. Иногда ей казалось, что это все громче и громче стучит ее сердце, которое захлебывалось от быстрого притока крови. Но она не смела обернуться, не могла терять времени. На луну наползла маленькая игривая тучка, и тень от нее упала на землю, проскользнув мимо девочки, которой вообразилось, что это тень ее преследователя. Она рванулась из последних сил вперед, и тогда острая боль пронзила ее грудь, где что-то хрипло и отрывисто заклокотало. Тамара споткнулась, выпрямилась, пробежала еще несколько шагов и вдруг, как подкошенная, упала ничком на мягкую, разбитую колесами землю. Теперь она уже больше не чувствовала ни боли, ни усталости, ни страха, но ее рука все еще крепко и судорожно сжимала уворованную морковку. Луна опять выглянула из-за облачка, осветив тело мертвой девочки на пустынной пыльной дороге.



ЗАВЕТНОЕ ЖЕЛАНИЕ

Посвящаю доктору Сэму Динеру.

На улице Ранкин тесно, словно в обнимку, стоят мрачные, обшарпанные дома. Это двух-четырехэтажные человеческие ульи. С утра до вечера их наполняют домашняя суета, гомон голосов, плач и смех детворы. В окнах, как на сцене, то и дело меняются действующие лица: вот замурзанный малыш тянет за хвост кошку, за ним вскоре появляется женщина, вывешивающая мокрое белье (чу-гу, чу-гу, - уютно стрекочут колесики, по которым движется веревка). Позже там сядет седенький старикан с газетой в дрожащих руках. В этих домах все старо и истрепано, скрипят лестницы и двери, с визгом открываются окна. Водопроводные трубы заросли изнутри ржавчиной, поэтому, если на нижних этажах откручены краны, на верхние из-за слабого напора не поступает ни капли, а это случается именно тогда, когда жилец купается или бреется и весь в мыльной пене. В знак протеста неудачник начинает разъяренно колотить чем попало по трубе, призывая соседей к милосердию.

Улица Ранкин - своеобразное место. Здесь ютится еврейская беднота, рабочие и ремесленники. Большинство из них переселились в Соединенные Штаты из Восточной Европы, спасаясь от погромов. Другие приехали просто в поисках лучших экономических возможностей. Но их дети родились уже в новой стране. Они - американцы.

Яхил, туго сбитый краснощекий блондин с редеющими волосами и широкими огрубелыми ладонями, работает мойщиком окон. Он всегда и всем доволен. Хотя ему одному тяжело тянуть лямку для семьи с семью детьми. Вознаграждением за труд ему служит конец недели. Уже вечером в пятницу, *эрев*

шаббес, когда мерцает свеча, зажженная женой, он, чистенький, с посветлевшим лицом, сидит в кухне в шумном семейном застолье перед весело дымящимся *гедемпфте флейш* с картофелем. Его голубые глаза искрятся.

- В Европе мы мясо имели редко. С такой семьей, как у нас, там бы мы с голоду умерли, а здесь живем неплохо. Америка - это *мицва* (благословение). Благодарю Бога, что он меня надоумил сюда переехать.

- Ты лучше, дорогой мой, за это поблагодари меня, - говорит добродушно жена, ставя на стол *циммес*. - Если бы не я, ты бы до сих пор пану Окрашевскому за гроши печи топил. А так вздумал за мной следовать - такой уж поклонник. Даже здесь никак не могла избавиться от тебя, - блестя чудными библейскими глазами, шутит Хынька.

Романтическая история, случившаяся перед женитьбой родителей, хорошо известна детям: влюбленный папа нанялся тогда кочегаром на корабль, чтобы последовать через океан за мамой, решившейся на отчаянное путешествие.

- Ой-вей! Ты права, дорогая. Но как же было мне упустить *аз айн шейне мейдл* (такую красавицу), - разводит папа руками. Жена улыбается своей загадочной и согревающей улыбкой.

Яхил гордится своей Хынькой: она рассудительна, хорошая мать, и никто лучше ее не умеет сготовить *гефилте фиш* или испечь *халлу*. К тому же она красива. Вся улица Ранкин знает, что Хынька, статная и высокая, когда работала в молодости швеей на фабрике, была и манекенщицей.

- Что бедному еврею нужно? - продолжает папа, глядя признательно на маму. - Не славу царя Давида, не деньги Ротшильда, только *айн гуте вайб* (хорошую жену) и...

- И чтобы вывести детей в люди, - подхватывает Хынька.

- Да. Это мое самое заветное желание. А Америка - страна неограниченных возможностей. Она мне поможет это сделать.

В семье не секрет даже для самого младшего, Мориса, что папа - американский патриот. Он не совсем уверен в дате

своего рождения (его метрика давно потерялась) и празднует его в День Вашингтона, а женился он в День Независимости, 4-го июля.

Сестренки говорят о подруге, к которой они завтра приглашены, братья перебрасываются словами с родителями, а Морис рассуждает про себя о том, что папа назвал заветным желанием. Слово "заветное" он не понимает, но воспринимает его как нечто значительное, важное. Все люди, по его мнению, должны иметь заветное желание. Каждый мальчик мечтает если не о бейсбольной перчатке, так о гирях для физических упражнений, роликовых коньках или о футбольном мяче. А Мориса манит велосипед со звучным звонком. Он, рыжеволосый невзрачный очкарик, робкий и неловкий, верит, что с помощью велосипеда обретет более яркую, захватывающую жизнь и превратится в заметную личность среди своих товарищей. Ве-ло-си-пед - его заветное желание.

- Ну, *майн кинд*, чего задумался? - треплет по головке Яхил сынишку, сбрасывая ему на лоб тугие завитушки. - Ешь, тебе еще расти, ведь на следующей неделе твой день рождения. Восемь лет. Не забыл?

- Папа, купи мне велосипед на день рождения, - нечаянно и невнятно произносит свою мысль Морис.

- Велосипед? - папа что-то прикидывает в уме, а потом с виноватой улыбкой продолжает: - С велосипедом пока никак не выйдет, но подарок получишь. - И чтобы окончательно рассеять огорчение мальчика, он обращается к старшему сыну:

- Сэм, напомни мне завтра - я дам деньги. Сведи своих братишек в кино.

* * *

Перед безликим кинотеатром уже за час до начала сеанса толпится детвора. Она там всегда: и жарким, раскаленным летом, и зимой, когда руки немеют от холода. Спешить нечего - зал вместит всех, - но эти сорванцы должны быть первыми, чтобы усесться под самым экраном на полу. Почему эти места считаются столь желанными? Вероятно потому, что здесь у маленьких зрителей общение с героями фильма происходит не че-

рез пространство, заполненное публикой, а непосредственно, хотя и неудобно им сидеть с задранной вверх головой, и ослепляет их близкое мелькание кинокадров. На сцене раскачивается пианист, в репертуаре которого - и бравурные марши, и нежный клавишный шепот, где этого требуют эмоции. И сидят малыши - темноволосые, рыжие, светлоголовые, тихие и буйные - то неподвижно-зачарованно, то покатываясь со смеху, и им здесь хорошо.

Среди них три брата. У старшего, Сэма, скоро будет *бар мицва.* Он такой умный, с ним даже папа говорит как с равным. Морис не станет ему надоедать. Вот со средним братом, Норманом, - другое дело: мальчиков связывает горячая дружба чуть ли не с младенчества.

- Ой-ой-ой! Поезд уже близко! - взволнованно теребит малыш Нормана за рукав, переживая за привязанную к рельсам героиню.

- Полину спасет герой. Он всегда ее спасает, - успокаивает его брат.

- Тихо! - бросает им проходящий мимо капельдинер, пытающийся освежить спертый воздух, брызгая одеколоном из пульверизатора.

Полина, яркая звезда экрана, действительно спасена, а в перерыве между двумя фильмами на сцене появляется подтянутый управляющий театром.

- Дорогие друзья! - гремит он. - У нас для вас есть большой сюрприз. На лотерейные жетоны, получаемые вами с сегодняшнего дня у входа, будет разыгрываться двухколесный детский велосипед в День Благодарения.

Зал отвечает дружным восторженным воплем: еще никогда не бывало такого заманчивого выигрыша. Но больше всех взволнован Морис.

- Норман, как ты думаешь, я выиграю? Правда? - пристает он к брату.

- Это один шанс из тысячи, - важно отвечает Норман.

Несмотря на то, что между братьями только два года разницы, Норман выглядит уже подростком, на него засматриваются девочки. Он сильный, красивый и добрый. Для Мориса

он - самый крупный авторитет. "Один шанс из тысячи" звучит все же обещающе, и малыш старательно прикалывает жетон номер 14 себе на шапчонку. Нужно сказать несколько слов об этих головных уборах еврейских детей в семьях, в которых одежда переходит от старших к младшим и до бесконечности перешивается и перелицовывается. Среди мальчиков улицы Ранкин носить старые шляпы взрослых это - *bon tone.* Поля шляп подрезаются зубчиками, и края заворачиваются. На шапочки прикалываются "трофеи": рыболовные крючки, перышки птиц и, конечно, жетоны. Чем пестрее разукрашена шапочка, тем большее почтение оказывается владельцу.

К жетону № 14 Морис со временем присоединяет другие, получаемые в том же кинотеатре. Мальчик живет надеждой - навязчивой, стойкой, хотя и не совсем разумной, и ждет розыгрыша, как светлого чуда. Ему даже снится, что по каким-то сказочным законам удачи выигрыш уже достался ему. Он мчится на велосипеде по городу, ловко, как на слаломе, огибая верткие автомобили и изрыгающие клубы дыма грузовики. Ожидание Дня Благодарения тяготит и волнует. И вот этот долгожданный день наконец наступает.

Тот же подтянутый управляющий появляется на сцене. Рядом с ним прекрасный, блестящий, никелированный велосипед. Зал мгновенно затихает. После вступительной речи разыгрывается лотерея. Детские сердца колотятся учащенно.

- Наш выигрышный номер - 14. Прошу счастливчика ко мне! - взывает управляющий.

Морис не верит своим ушам, он хватает ртом воздух, как рыба на суше.

- Номер четырнадцать! - опять раздается громко.

- М-м... мой но... мер! - с трудом вырывается у Мориса из пересохшего горла.

Прижимая к груди шапчонку и спотыкаясь, мальчик бежит на сцену. Перед ним неотразимый, чудесный и элегантный велосипед. Это - его собственность. Как загипнотизированный, он прикасается к холодной стали дрожащей рукой.

- Твой жетон, - уже вторично обращаются к нему.

- Мой жетон... - Придя в себя, Морис нервно крутит шапочку, и его глаза широко раскрываются от ужаса: "трофеи" симметрично поблескивают, но там, где был счастливый жетон, - пустое место. Куда он исчез? Когда?

- Я... я по... терял, - мямлит убитый горем мальчик. Комок подступает к горлу, разбушевавшийся зал словно качается перед ним. Его уводят со сцены. Это самое сильное потрясение в еще короткой жизни Мориса. Горько и пусто у него на душе. Поздно вечером в постели, отвернувшись от рядом уже спящих братьев и глядя на чернильный квадрат неба в окне, он плачет обиженно, с детским отчаянием. А потом ему снятся радужные мыльные пузыри, которые лопаются, когда он к ним прикасается.

* * *

На этом история заветного желания Мориса не закончилась. Какой-то дальний родственник семьи, живший у них первое время по приезде в Америку, дарит им детский велосипед, почти новый, но неисправный - без одной педали. Чтобы прикрепить ее, нужно сделать нарезку на педальном стержне.

- Идем к Сторму, - зовет Норман брата.

Водопроводчик Сторм живет неподалеку. Это энергичный, заросший и чернявый человек. Норман выкладывает ему свою просьбу.

- Ой-ой-ой, - отмахивается мохнатыми руками водопроводчик. - Нет времени. Этим летом все трубы текут и все туалеты засорились, как сговорились, проклятые.

- Это для братишки, - просит Норман.

Сторм смотрит на Мориса, застенчиво мигающего глазами за толстыми стеклами очков.

- Ну, ладно, сделаю, - соглашается он, - только не торопите меня, дети. Когда будет время, тогда и сделаю.

Для братьев потянулась мучительная канитель. Каждый раз, когда они появляются у Стормов в кухне, пропитанной запахом курятины и пеленок, водопроводчик незлобиво, но категорически восклицает:

- *Вейз мир!* Только не сегодня. Я так устал на работе.

И правда, по его серому лицу и глазам, обведенным черными кругами, видно, что он изрядно утомлен.

Так продолжается день за днем. В конце концов Норман, потеряв терпение, решает перейти к осаде. Каждый вечер, как только Сторм, придя с работы, садится за стол, в проеме двери, всегда летом гостеприимно открытой для соседей, свежего воздуха и мух, бесшумно появляется Норман и подолгу стоит там. Он держится с молчаливым достоинством и не спускает глаз с хозяина. Ни слова упрека, ни слова мольбы. Сначала Сторма даже забавляла *хуцпа* (выдержка) мальчугана, но со временем "привидение" начинает его смущать, и он жалуется жене:

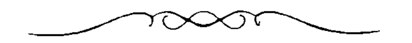
- Вот еще он меня, как *малах хамовис* (ангел смерти), преследует.

Наконец, водопроводчик не выдерживает осады и сдается. Морис получает свой собственный первый велосипед. Он восхищенно вскакивает на него и летит, излучая счастье, по улице. Теперь дядя Сторм может спокойно ужинать - уже без визитов *малах хамовиса.*

* * *

В конце концов сбылись заветные желания не только маленького Мориса, но и его отца: он вывел всех семерых детей в люди, дал им хорошее образование, особенно мальчикам. Сейчас Сэм - выдающийся хирург, Норман - инженер, имеющий свой бизнес, а самый младший, Морис, - зубной врач.

Папа Яхил был прав: Америка - страна неограниченных возможностей, где для детей бедных эмигрантов открыты все двери.



ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ...

День угас. Серые, холодные сумерки сгустились над аэропортом. За окнами заунывно выл ветер, а в зале ожидания было светло и уютно. На посадку еще не пускали, но контролерша уже появилась у прохода, и возле нее толпились люди. Подошла и стала в эту безалаберную очередь и Галина Тимашева - рослая круглолицая женщина, выглядевшая моложе своих шестидесяти двух лет. Из-под ее коричневой шляпки выбивалась волнистая светлая челка, падавшая на подкрашенные тонкие брови.

Год назад Галина овдовела и теперь летела первый раз одна погостить у родственников во Флориде.

Внезапно внимание Галины привлек вошедший в зал могучий черный парень в кожаной куртке. Она его сразу узнала и невольно сжалась в комочек. Он рыскал глазами по пассажирам. Ясно, он искал ее, искал, чтобы отомстить. "Как он мог узнать, что я сегодня улетаю? - недоумевала она. - Где тут скроешься от него..." Она незаметно проскользнула мимо контролерши, занятой разговором с каким-то стариком, и поспешила к самолету по узкому длинному коридору. Но, опасливо оглянувшись, Галина поняла, что поступила опрометчиво: ей надо было оставаться в толпе. Парень следовал за ней. Коридор сделал крутой поворот. В нескольких шагах находилась боковая дверь, которая легко открылась, и женщина успела в нее юркнуть, прежде чем преследователь появился из-за угла. Она, кубарем скатившись по ступенькам, забилась, как мышь, под лестницу, затаив дыхание и надеясь там переждать, пока опасность минует. Этот выход к самолету был самым крайним и плохо освещенным. Вдали, у главного здания аэропорта, сно-

вали рабочие, деловито выгружая что-то из фургонов, суетливо мелькали тени. Но Галину от них отделяло пустое пространство летного поля. Если бы она устремилась туда, преследователь наверняка заметил бы ее. А так он решит, что она уже в самолете и проскочит мимо боковой двери...

Вверху послышался металлический скрип, вспыхнул и погас сноп света. Ее нервы не выдержали. Потеряв голову, она выскочила из своего укрытия и ринулась к ближайшей постройке, по-видимому, мастерской, возле которой метался на ветру подвесной фонарь. Там стояло несколько грузовичков, а чуть дальше - два серебристо-белых самолета, напоминающих исполинских китов с поднятыми вверх хвостами. Дорога назад отрезана, а впереди широко раскинулся аэродром, прошитый, будто блестящими нитями, разноцветными огоньками взлетно-посадочных полос. Галина бежала изо всех сил, чувствуя за спиной погоню. Но в то же время ее взбудораженное воображение вновь и вновь прокручивало в памяти клочки событий, с которых все началось.

... Встреча Нового года в Нью-Йорке. Сверкают и переливаются тысячами искр украшения на елке, сияют глаза гостей. Шуршание шелка, громкие приветствия... На ней василькового цвета платье, подчеркивающее голубизну глаз. За несколько минут до полуночи танцы прекращаются. Публика напряженно следит за мелькающими цифрами часов на стене возле эстрады. Галина, приподняв бокал, смотрит на шипучее шампанское и тихо повторяет несколько раз свое новогоднее заклинание:

- Я должна научиться защищать свои интересы. Я должна...

"Научиться защищать свои интересы..." Это было ее больное место. Галина Тимашева всегда отличалась робостью и избегала любых неприятных столкновений. Обсчитают в магазине - она не вступает в спор, толкнут на улице - она же извинится... Покойный муж охранял ее от всех крупных и мелких невзгод, принимая на себя многие болезненные удары эмигрантской судьбы. Она была за ним как за каменной стеной. Оставшись одна, эта женщина совершенно растерялась.

Недавно какой-то гараж напечатал по ошибке на купонах ее номер телефона, так вместо того, чтобы за причиненное беспокойство пригрозить его владельцам, что она обратится к адвокату, - она терпеливо сообщала их клиентам, звонящим ей, правильный номер гаража. На днях хозяин незаконно увеличил ей квартирную плату, - она не обжаловала его требования. Галина понимала, что для самоутверждения в этом жестоком мире ей необходимо быть как-то решительнее, изменить свой характер... Этого она и желала себе на Новый год.

"Я должна научиться защищать себя..."

- Что ты там шепчешь? С Новым годом! - с ней весело чокается подруга.

А вокруг уже плывут к потолку воздушные шары, трубят рожки, слышится радостный смех, отовсюду несутся поздравления. Старый год ушел, а Новый год-младенец обещающе поднимает свои длинные ресницы, чтобы взглянуть на свет Божий...

На следующий день, переночевав у подруги, Галина возвращается домой в Нью-Джерси. И вот ей впервые представляется случай испытать силу своего новогоднего заклинания. Войдя в автобус у железнодорожной станции в Ньюарке, она бросает в кассу семьдесят центов и протягивает водителю удостоверение, выдаваемое пожилым гражданам: оно дает право на льготный проезд за полцены. Водитель, сумрачный негр с широченными бакенбардами, вглядывается в документ и внимательно изучает лицо пассажирки, видимо, сомневаясь в ее возрасте.

- Покажите свою карточку "медикэр", - требует он.

- У меня ее нет, так как мне еще нет шестидесяти пяти лет...

- Тогда уплатите полную цену - иначе я вас не возьму, - говорит он резко.

Во избежание лишних пререканий она бы, возможно, и уплатила эти жалкие семьдесят центов. Но у нее в портмоне не осталось мелочи, а бумажные двадцатки в автобусах не принимают. Пойти разменять - автобус уедет, придется ожидать следующий целый час... Начнет темнеть, а ей от остановки идти

больше мили мимо пустынного парка... Все это проносится в голове, и на ум вновь приходит новогоднее заклинание. Ведь она же права - еще вчера ее удостоверение признавали водители. По закону на эту льготу имеют право все, достигшие 62-летнего возраста.

- Я не выйду, - твердо звучит ее голос, - если вам угодно, позовите полицейского.

Блюстителя порядка поблизости не оказалось. Завязывается спор.

- О'кей, леди. Мы не поедем, пока вы не выйдете, - непреклонным тоном заявляет водитель.

Только после решительных протестов пассажиров он раздраженно трогается с места. Галина на всякий случай записывает его номер, находящийся над ветровым стеклом. Мелькают дома, магазины с празднично разукрашенными витринами, потом начинается предместье... Перед ее остановкой в автобусе остается всего человек пять. Она звонит и, поднявшись, ожидает возле передней двери. Автобус останавливается.

- Задняя дверь! - объявляет водитель.

Она спешит назад, но дверь захлопывается перед самым ее носом.

- Откройте сейчас же... Откройте! - возмущается она, но автобус уже несется стремительно дальше. Начинается кошмар. На ближайших остановках никто не выходит. Ее же звонки и протесты водитель злорадно игнорирует. Она растерянно обращается к пассажирам:

- Будьте свидетелями: этот сумасшедший не хочет выпустить меня из автобуса.

Пассажиры, встрепенувшись, смотрят на нее, но никто не вмешивается в конфликт. Она с угрозой кричит водителю:

- Я буду судить вас за похищение!

Слово "похищение" производит магическое действие. Сразу взвизгнули тормоза. Дверь - настежь.

- Идиот, - бросает Галина в сердцах и выскакивает на дорогу. Неторопливо, словно лениво, кружатся редкие мохнатые снежинки; на пригорке вдали виден сизо-дымчатый лес. Теперь ей нужно возвращаться три мили...

Дома, все еще кипя негодованием, она решает искать управу на обидчика. Что ж, его накажут по заслугам. Узнав адрес компании "Нью-Джерси транзит", она берет ручку и лист бумаги.

"*Dear Sir!* Хочу изложить Вам свою жалобу..."

Она пишет быстро, перечеркивает и добавляет целые предложения. Вот уже перечислены подробно все факты. Заканчивает она так:

"Ваш водитель обошелся со мной чрезвычайно грубо и жестоко и, вопреки моему желанию, не выпускал меня из автобуса несколько остановок. Это - преступное насилие над человеческой личностью, это - акт похищения.

Я требую немедленно принять строгие меры в отношении моего обидчика. Подобному лицу, опасному для общества, не место в системе транспортного обслуживания. Уведомляю Вас также, что начинаю против водителя и Вашей компании дело в суде через моего адвоката..."

* * *

Галина продолжала бежать по аэродрому. Сердце неистово колотилось в груди. Она понимала, что вот-вот черный парень ее догонит. И что тогда?

Она пересекла взлетную полосу, очерченную по краям белыми линиями. Правее на порядочном расстоянии стояли несколько самолетов, возможно, ожидающих очереди на взлет. У Галины затеплилась надежда, что, может быть, ее заметят, передадут в аэропорт по рации, и придет спасение. Она повернула к самолетам, но это сократило расстояние между нею и ее преследователем. Шаги его слышались уже совсем близко за спиной. Сильная рука вцепилась в плечо, остановила и швырнула ее наземь. Через накипающие слезы она обреченно смотрела на смутно освещенное далекими огнями лицо водителя автобуса, лицо с выпученными глазами, искаженное ненавистью.

- Из-за тебя я потерял работу, - прохрипел он, - а у меня четверо детей и больная жена.

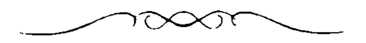
В занесенной над ней руке блеснул нож.

... Галина проснулась, дрожа всем телом, как от озноба. Она задремала на диване с письмом в руках - жалобой на водителя. За окном бились на ветру ветви деревьев. Неуверенной походкой она направилась в кухню и, налив в стакан воды, выпила залпом. Это как бы немного отодвинуло страшное видение, сон наяву. Она перечитала письмо.

Действительно, если оно будет послано в таком виде руководству "Нью-Джерси транзит", водитель наверняка потеряет работу: компания от него откажется, не желая судебной тяжбы. Письмо, написанное сгоряча, теперь показалось ей чересчур резким. Откровенно говоря, она тоже ведь повысила голос и оскорбила шофера. Возможно, он был новичок, еще не знал досконально всех правил...

Галина взяла ручку и сначала вычеркнула везде слово "похищение". Потом зачеркнула фразу, угрожавшую компании судебным процессом, и написала: "Водитель грубо обошелся со мной и на мой звонок не остановил автобус. Примите надлежащие меры, чтобы подобные инциденты в будущем не повторялись". А закончила словами: "Убедительно прошу не открывать водителю ни моего имени, ни моего адреса".

Еще раз перечитав текст, Галина перепечатала его на машинке и достала конверт. В общем она все же как-то защитила себя...



БОРЬКА

Был июньский день, один из тех, когда солнце не палит, а ласкает, воздух прозрачен, как хрусталь, и необъятные дали безоблачного неба распахнуты настежь.

Я в саду нарезала цветы для букета. А рядом на соседнем газоне - гам и толкотня. Там возились с мячом смуглые, быстрые подростки под предводительством неуклюжего, длиннорукого Тони Монти. Они все были мне знакомы, за исключением самого младшего, сидящего уныло на бровке и жадными глазами следящего за игрой.

- *Boys, let me play*, - послышался его несмелый тоненький голосок с сильным акцентом.

На него не обратили никакого внимания, и он повторил более настойчиво:

- Ребята, дайте мне поиграть.

"Опять у соседей гости из Италии", - подумала я о мальчугане, а Тони, пошептавшись, как заговорщик, со своими сверстниками, снисходительно заявил:

- *O'кей!* Но сначала посмотрим, что ты умеешь. Отними у нас мяч.

Мальчонка порхнул стремительно к ватаге. Короткая предстартовая подготовка, и шумно началось безостановочное неравное состязание - все против одного. Команда была хорошо сыгранная. Долго продолжалась борьба. Малыш совсем запыхался. Но вот он неожиданно вильнул вбок, ловкий прыжок - и мяч уже в его руках.

- *I got it!* Я поймал! - закричал он победно.

Не тут-то было. Тони, не ожидавший подобного исхода, коварно сверкнул белками своих сицилийских глаз.

- Мы все равно с тобой играть не будем, - аннулировал он небрежно свое зыбкое обещание.

- Почему? - озадаченно произнес паренек, и плечи его настороженно поднялись: его лицемерно обжулили. - Почему?

Ведь он вроде бы выполнил требуемое условие.

- *You stink*, - с кривой ухмылкой бросил ему Тони, не найдя более веского довода. - Ты воняешь. - И не дав ему опомниться, выхватил мяч.

- Кто... что воняет? - не понял мальчуган.

- *You stink!..* - в унисон своему вожаку повторили, хихикая и для убедительности потягивая носом, малолетние наглецы.

Меня резануло как бритвой. Всплыла в памяти давняя сцена: мы недавно в Америке, пыльная фабрика. Я, еще не изучив всех производственных тайн, в первый же день перевыполнила норму, и работницы, опасаясь, что ее им из-за меня повысят, встретили это в штыки. Они, окружив меня, вели себя точно так, как сейчас эти пакостные озорники. Тогда я их оскорбление восприняла в буквальном смысле. Так, вероятно, понял его и этот мальчонка. Он был растерян, уязвлен, лицо стало пунцовым. На нежной шейке учащенно трепетала жилка.

Я выступила в его защиту, начав по всем правилам отчитывать ребят.

- С ним играть - напрасно терять время. Он не говорит по-английски, - оправдывался Тони, смотря исподлобья.

- *He's stupid.* - Он - дурак, - подобострастно вторили ему приятели.

И вдруг безмолвный человечек, преодолев шок и задыхаясь от гнева, словно плюнул в лицо обидчикам... по-русски:

- Вы... вы... вы все подонки!

Он стоял в воинственной позе, в синих шортах, коренастенький, весь взмыленный, с густой мокрой челкой, приклеившейся ко лбу.

- Откуда ты здесь взялся? - в изумлении повернулась я к нему. А юные озорники, воспользовавшись моментом, с громким топотом, точно табунок диких мустангов, скрылись за домом.

- Елки-палки! - всплеснул мальчик руками. - Из Киева приехал.

- Земляки, значит. Ты "третья волна" или даже "четвертая", как принято теперь говорить!

- Что еще за волны?! - удивился он.

Я ему объяснила, а он воскликнул недоверчиво:

- Обалдеть можно! Встретил нашу тетю и уже американку!..

- Называйте меня Борькой, - представился он и стал рассказывать о себе: он окончил пятый класс; у них в семье нет других детей. Отец погиб в аварии, мама - учительница, "сейчас в пекарне вкалывает". Живут они на следующей улице у тети и дяди (брата матери). "Бабуля в Ладисполи застряла - глаза себе выплакала". А в Союзе остался у него закадычный кореш Вовка.

- Который час? - спохватился он и поспешил домой на обед, пообещав вскоре навестить меня.

* * *

Борька грыз в нашей кухне коржики, запивая кока-колой. Он обожал абсолютно все американское, начиная с "горячих собак" и кончая магазинами, "где полки ломятся. А дома здесь - дворцы. В каждом может разместиться 5-6 коммуналок". Он уже успел побывать в нашей столице, даже в Белом доме - "у самого президента", как он выражался. Нью-Йорк с его шумным водоворотом жизни и зданиями "ого-го!" загипнотизировал юнца. Он лихо запел: "Небоскребы, небоскребы, а я маленький такой..." и разразился звонким, заливистым смехом.

Через несколько дней Борька обратился ко мне с просьбой:

- Миссис Юджиния (он произносил мое имя на американский лад), найдите, пожалуйста, мне работу. - На его красивом, почти как у девочки, лице была мольба, а карие глаза смотрели на меня в упор.

- Зачем тебе работа? - удивилась я.

- О, вы даже не представляете себе, миссис Юджиния, как это для меня важно. Если бы я имел *job*, Тони и все ребята

меня бы за равного считали. Ведь у каждого из них - несколько дворов, где они зимой чистят снег, а летом косят траву. Я же - безработный, - горько закончил он.

- Ты бы лучше язык учил, - посоветовала я ему и стала в разговоре с ним на каждом шагу употреблять английские слова.

Прилежному мальчишке я разрешила поливать газон и мыть после себя на нашей кухне посуду, но косить траву он был еще мал. Старенький велосипед стал теперь главным его развлечением. Да и на нем из-за крутого холма на нашей улице радиус передвижения был довольно ограничен.

Борька делился со мной всеми своими радостями и печалями - то он порвал себе штанину, сорвавшись с забора, то ("елки-палки!") родители Вовки подали документы на выезд... Мы вместе замывали на коленях травяные пятна, и я заштопывала дыру. Он изобрел специальный ритуал приветствия, как бы закрепляя этим нашу только-только начавшуюся дружбу: при встрече приветственный возглас, два хлопка в ладоши, - лишь потом рукопожатие.

У нас с ним завелись секреты. "Никому ни слова об этом. Даже маме. Ладно?.." - начинал он доверительно (с его матерью я уже переговаривалась по телефону).

- Дома не хотят, чтобы кто-либо об этом знал, - как-то сделал он предисловие к своей новой тайне. Речь шла об его "бабуле", бывшей в данный момент болезненной кровоточащей раной всей семьи.

- Так ты мне не говори, - пыталась я его остановить, но он продолжал:

- Бабуля заболела от переживаний. Она пишет, что всю жизнь своим детям душу отдавала, а они ее теперь оставили на произвол судьбы.

- Да ведь вы все ее с нетерпением ждете?

- Да. Но мы пока не можем ее выписать. У нее еще нет статуса беженца. А без него ей не дадут здесь пенсию. Дяде придется ее содержать. Он не потянет: у него артрит. Но бабуле всего написать нельзя - письмо может попасть в чужие руки. Вот тетя на днях и полетит в Италию, чтобы ее успокоить...

Когда у Борьки появлялись неотложные проблемы, он прибегал к нам и звонил в дверь импульсивно, настырно, не соблюдая положенного правила - предупредить по телефону о своем приходе. Я опрометью бежала открывать. Когда меня не было дома, это делал муж, но без особого энтузиазма. Человек добрый и гостеприимный по натуре, он, как типичный американец, всегда свято придерживался убеждения: дом - это крепость, и никаких "вмешательств" извне не терпел. "Забежать на огонек" - это для него было непонятно и дико. После подобных неожиданных визитов он хмурился, - а мне так хотелось, чтобы эти "двое мужчин", таких важных в моей жизни, сошлись характерами!

Борька все чаще посещал нас. Понятно - целый день его домашние на работе. Трудолюбивый, настойчивый, сообразительный, он излучал энергию, будто электрическая лампочка свет, и страдал постоянно в своем замкнутом тесном мирке. Что же касается Тони и его лоботрясов, их отношение к нему не сдвигалось с мертвой точки. Лишь в моем присутствии они терпели безъязыкого пришельца, изъясняясь с ним жестами. Стоило мне отвернуться, и Борька опять оставался один-одинешенек.

* * *

Все настойчивее стрекотали цикады. Лето, долго обволакивающее зноем и душной дымкой холмы Нью-Джерси, было на исходе. Вот тогда и случилось необыкновенное происшествие.

У нас в стене гаража, позади дома, поселились еще весной дикие пчелы. Эти неутомимые труженицы беспрестанно сновали взад и вперед, протискиваясь в небольшое отверстие между деревянной облицовкой и фундаментом. Мы мирно сосуществовали с крылатыми жильцами, питающими надлежащее уважение к своим хозяевам. Но вот что-то произошло в их летучем царстве - то ли наши пчелы приняли к себе бездомный рой, то ли вывелось новое поколение. С приростом населения их кроткий нрав неузнаваемо изменился. Они стали агрессивными и даже напали на мужа. Правда, он отделался всего лишь

одним укусом, но рука покраснела и опухла. Доктор установил аллергию к пчелиному яду, предупредив, что следующий укус вызовет еще более бурную реакцию. В таких случаях не может быть исключен даже смертельный исход. На нашей небольшой дружной улице, где все бытовые, житейские проблемы становятся общим достоянием, только и было разговоров, что об этой неожиданной напасти. Нам давали рецепты и советы, как избавиться от подобной нечисти, а практичный мистер Монти принес даже список профессиональных истребителей насекомых. Но принес он его в пятницу - до понедельника, конечно, никого из них не заполучишь на дом...

Муж уехал за покупками, а я поливала из шланга грядки. Солнце уже спускалось к западу, все настойчивее гудела отдаленная автострада - приближался час пик. Ко мне прибежал взволнованный Борька.

- Бабуле дали документы. Она скоро приедет, - сообщил он.

Я, порадовавшись вместе с ним, рассказала об аллергии мужа.

- Елки-палки! - воскликнул мальчик. - Это ужасно! Меня в прошлом году в пионерском лагере тоже пчелы искусали и - ничего. Я их не боюсь! Хотите, я их вам выведу? - храбро предложил он.

В это время зазвонил телефон, и я поспешила в дом. Вскоре послышались торжествующие, пронзительные возгласы Борьки. "Пчелы?!" - екнуло у меня сердце. Я молниеносно выскочила во двор. Борька то наступал рывками, то отступал, подпрыгивая. В его судорожно сжатых руках мотался шланг, из которого мощной струей била вода. Он кричал азартно, устрашающе, неистово, напоминая колдуна, изгоняющего злого духа. А сверху на него наседал со зловещим жужжанием растревоженный рой.

- Бросай шланг и беги! - закричала я в смятении.

Борька еще не был готов к отступлению.

- Бросай сейчас же! - приказала я ему строго.

Он повиновался, и мы через стеклянную дверь наблюдали, как пчелиное облако постепенно разошлось, рассеялось по воздуху над зеленью сада.

- Вы меня отозвали, когда я побеждал! - не преминул он упрекнуть. - Я их специально на бой вызвал. Я пустил струю прямо в из гнездо.

Не зная еще, чем это кончится, я ничего не сказала мужу, но когда утром пошла в гараж, остолбенела - везде были пчелы. Одни летали, другие сидели на стене. Двери, облепленные ими, как гроздьями, мерцали, словно покрытые тусклой позолотой. Только теперь я заметила, что в их жужжании нет прежней грозной бравады. Они находились в каком-то одурманенном состоянии. К вечеру они осыпались на пол, будто спелые колосья.

Для меня навсегда так и осталось загадкой - погибли они от психического шока или от нанесенного им физического увечья.

- Миссис Юджиния, я вывел вам пчел, - гордо заявил Борька.

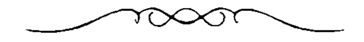
- Слышали? Русский мальчик вывел им пчел, - поползла новость по улице.

- *Che bravo ragazzo!* - Молодец парнишка! - ахал и крякал сухонький дед Монти.

Борькина слава росла, и, по-видимому, это придало ему уверенности в себе. Он внезапно заговорил по-английски, неправильно, но бойко.

- Эй, *kid*, хочешь с нами играть? - предложил ему на следующий день спесивый Тони, дружески похлопав по плечу.

Борька схватил брошенный ему мяч, и счастливая улыбка расцвела на его лице. Незыблемая стена между ним и ребятами наконец рухнула: пришло такое долгожданное, замечательное и вожделенное равенство. Для Борьки окончилась переходная, самая трудная часть жизни - вживание в совсем чужое ему общество. Он пересек уже мост, ведущий из старого, знакомого ему мира в Новый Свет.





ВТОРОЙ СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ

Мой дом - моя крепость.

По данным статистики, средняя американская семья меняет место жительства раз в семь лет, а мы засиделись - восемнадцатый год в том же доме.

Дом наш постарел, с ним все больше хлопот, вот и решили мы с мужем подыскать что-нибудь поновее, а свой дом продать.

Естественно, возникает вопрос, как продавать: самим или через агентство. И то, и другое вполне приемлемо. Но нам с агентством уже однажды не повезло: представительница этого бравого бизнеса привела нам покупателя, оказавшегося несостоятельным для получения займа в банке. А я тогда уже чудесный особнячок для себя облюбовала. Сделка не осуществилась. Я даже заболела на нервной почве. Да и куш агентства громадный срывают. Нет уж! Мы и сами справимся, без чьей-либо помощи.

Для продажи недвижимости необходим научный подход: тщательно изучить всю доступную устную и письменную информацию, отобрать существенно важное и составить как бы кодекс, который свято выполнять в будущем, как десять заповедей.

Первое - ликвидировать или замаскировать все заметные изъяны в доме. У нас их оказалась уйма, некоторые даже основательные: в крыше течь - при дожде в спальню Ниагарский водопад низвергается, а с задним крыльцом и того хуже: норовит отделиться от фундамента здания (точно как часть Калифорнии от материка у "разрыва Сан-Андреас") и уплыть в сад. Тут без профессиональной помощи не обойдешься.

И вот уже позади дома летят вихрем стружки у плотника; у парадного входа каменщик скрепляет цементом шатающиеся, будто больные зубы, кирпичи в ступеньках; кровельщик, а-ля "скрипач на крыше", возле трубы с ведерком крутится - смолу льет; в подвале водопроводчик канализацию прочищает, электрик проводку меняет. Новое оборудование привезли, сгружают кондиционеры и плиту. Деньги летят, кошелек пустеет. Но мы духом не падаем, знаем, что все расходы с лихвой окупятся.

Лето в душной дымке за горизонт катится, где-то ласковый ропот моря, шумит яркая, веселая жизнь, а мы, мрачные узники, в поте лица лямку тянем: после мастеровых убираем, все прихорашиваем, хромовые краны начищаем, пауков на лоно природы выселяем (говорят, убивать их нельзя - *бэд лак*, принесет несчастье). Готовим наш дом к смотринам, словно немолодую невесту. Отрешились совсем и от телевизора, и от газет.

Цену назначить - сущий пустяк. Вот я вас научу. В муниципалитете (в конторе податного чиновника) следует сделать выписку, за сколько пошли дома на вашей улице в прошлом году. А дальше простая математика. К цене дома, по качеству подобного вашему, добавить 10 процентов его стоимости (прирост цены за этот период в данном районе).

Объявление нужно составить умело, обязательно указав в нем какую-либо достопримечательность, *стронг пойнт*. У нас нет ни плавательного бассейна, ни "флоридской комнаты", ни даже джакузи. Если уж гордиться - так тремя ванными комнатами: одна - голубая, другая - розовая, а третья - коричневая с золотистыми стенами. Это - настоящее богатство, и не только для советского человека, привыкшего к коммунальным удобствам или, вернее, неудобствам.

Наше объявление гласит: "Расширенное ранчо, большая гостиная, соответствующая всем правилам столовая, кухня, где можно обедать, четыре спальни...", а затем - наш *стронг пойнт* (приманка) - туалеты. Читаю - сердце радуется.

Объявление появляется в воскресной газете - самая бойкая пора для продажи недвижимости.

Пословица говорит: "У каждого человека в жизни есть два самых счастливых дня: один - когда он дом купит, а второй, когда его продаст". Вот мы всеми силами за это "второе счастье" и боремся.

Уже с раннего утра делаю "последние штрихи", затем устраиваю смотр, точно генерал войскам перед решающим боем. Все честь честью. Тем временем муж на телефонные звонки отвечает, назначает покупателям время для посещения (у нас не *опен хаус*).

Теперь пора и на себя навести лоск. Я сажусь перед зеркалом. Из рамки в стиле "французская провинция" на меня смотрят потускневшие, ввалившиеся глаза, обведенные темными кругами. Лицо изможденное, осунувшееся. Здесь простым росчерком помады и взмахом пуховки проблему не решить. Капитальный ремонт нужен. А муж меня дергает:

- Переменила лампочку в кладовой? Чашки поставила в шкафчик?

- Когда же первый посетитель? - спрашиваю, синим обводя губы (в спешке карандаши перепутала).

- Через полчаса сказали, но могут заявиться и раньше.

Через пять минут он опять идет на меня в атаку:

- Хватит тебе перед зеркалом сидеть. Не тебя ведь покупать будут.

- Здесь психологический подход нужен, - вразумляю я его. - По ассоциации у людей создается представление: если хозяева к себе небрежно относятся, то тем более и к своему дому. Закономерность такая, понимаешь?

Вскоре повалили к нам покупатели, будто на ярмарку. Одна машина за другой подруливает к газону, подстриженному аккуратно и коротко - под морского пехотинца.

Мы с мужем на семейном совете выработали детально стратегию по отношению к покупателю: наметили маршрут, по которому дом производит самое благоприятное впечатление, обсудили стиль разговора - атмосфера независимости, любезный тон, но с достоинством, ведь не какую-то побрякушку продаем, а свое жилье, очаг, свою крепость, как говорят англичане.

Разделили обязанности: муж - распорядитель, я - гид и швейцар, дверь открываю.

Покупателей - лавина: спокойные и суетливые, робкие и нахальные, тактичные и грубые, точно чеховский Ионыч, бесцеремонно тыкавший во все двери палкой. И новобрачные попадаются - друг с друга глаз не сводят. Женщины - в большинстве заезженные детьми, невыспавшиеся молодые мамаши, бигуди в волосах и шорты.

Изо всех посетителей мне особенно запомнились мать с дочерью. Мать, как видно, финансировать собирается, поэтому хочет детально ознакомиться со своим будущим капиталовложением. Ей нужно все знать: из твердого ли дерева полы, оштукатурены ли стены и даже о домовом спросила. Такая уж дама дотошная, практичная, въедливая. Глаза блестят любознательно. На левой щеке черная родинка, при разговоре на ней шевелятся волосики, будто ус у кота, который собрался на мышь броситься.

Исполнив обязанности гида, я посылаю клиентов к мужу за технической и хронологической информацией (возраст дома, кубатура котла для горячей воды и т.п.). Он, как бомбардировщик, со всеми точными данными в пике на посетителей идет и с гранитной твердостью отвергает неподходящие предложения. В это время я нянчу малышей, чтобы торгам не мешали,- расположилась в саду с целым кафетерием: молоко, всякие соки и, конечно, коржики и конфеты. В мой детский сад попадает даже премиленький пудель, беленький с наманикюренными коготками и с розовым бантиком, словоохотливый такой - с белкой и то вступает в пререкания. Он, видите ли, одиночества в машине не переносит.

В полночь мы подводим итоги. Полнейшее фиаско. Ни одного приличного предложения. Последующие дни мы сидим у разбитого корыта. От недавних рьяных покупателей - ни слуху ни духу, словно вымерли.

- Может быть, мы заломили безумную цену? - предполагаю я и заявляю: - Нужно обязательно сравнить товары.

- Какие еще товары? - не понимает муж.

- В это воскресенье мы не продаем, а покупаем. По газетным объявлениям пойдем смотреть дома, которые продаются.

Муж у меня щепетильный, стеснительный, приходится мне одной осуществлять задуманное.

Звоню в первый дом. Мне открывает дверь полная пожилая женщина с массивными кольцами на руках. Что-то уж очень знакомо мне ее лицо: на черной родинке кошачий ус шевелится. Мы, остолбенев, долго смотрим друг на друга, а потом обе взрываемся неудержимым смехом.

- Секретная стратегия продавца недвижимого имущества, - говорит тучная дама, захлебываясь от смеха.

На этом мое "сравнение товаров" заканчивается. Боюсь, что все мои покупатели превратятся в продавцов...

Так или иначе нам приходится прекратить продажу на неделю: дочь приехала погостить с мужем и детьми. Погром, катаклизм, разруха - словно стадо динозавров через дом прошло.

Вдруг звонок в дверь. Муж, поспешивший открыть, возвращается взволнованный.

- Покупатель. Убери немного. Мы через десять минут зайдем.

- Десять минут?! Да ты с ума сошел! Два дня по меньшей мере... Какая может быть продажа при таком кавардаке?!

- Да ты лишь дорогу нам расчисть, чтобы не споткнуться, - умоляет он меня шепотом.

Я начинаю метаться, точно угорелая, рассовывая вещи куда попало: коробка с шоколадом летит в мусорный ящик, пеленка внука - в холодильник, детские башмачки - в кастрюлю. А потом я, несчастная и злая, удаляюсь в сад. Оттуда я вижу, как по комнатам с молниеносной скоростью распространяется свет - покупатель проносится через дом, будто пуля навылет. Вот он уже на заднем (подправленном) крыльце: небольшой человек с четким проборчиком, сосредоточенный и юркий. Заметив меня, коротенько здоровается.

После его ухода муж сообщает, сияя, как новая монета:

- Мы получили хорошее предложение.

Не верю своим ушам и сразу добрею.

- Я не сомневалась в нашем доме, - говорю. - Ведь мы произвели колоссальный ремонт, на который истратили целое состояние. Видишь, понимающий человек сумел это оценить.

- Все это не имеет значения. Дом покупают на снос. Здесь будут строить жилой комплекс.



"КРЕМЛЕВСКИЕ КУРАНТЫ"

Виталий Громов, артист областного театра, в небрежно наброшенном на плечи полосатом халате ходил по комнате, обеими руками крепко, точно тисками, сдавливая голову. Мигрень не прекращалась. Он знал ее причину - последний разговор с режиссером Булгаковым по поводу роли Ленина в "Кремлевских курантах".

Громов уже испробовал все способы лечения, но в борьбе с недугом всегда оставался побежденным. Он менял врачей, но все - тщетно. Водка помогала лишь временно, а после нее было еще хуже.

Мигрени стали мучить Громова после ареста, несколько лет тому назад. Ему особенно запомнился первый допрос.

Откормленный следователь с челюстями мопса и руками молотобойца сидел за письменным столом и делал пометки в каких-то бумагах. Он небрежным жестом указал Громову на стул. На стене над головой следователя висел огромный портрет Ленина. Арестант смотрел на портрет и отсчитывал мучительно длинные минуты. В теплом уюте кабинета его стало клонить ко сну... Вдруг сильный удар в лицо:

- Это тебе не ночлежка, а кабинет следователя, - гремел над ним зычный голос. Его тогда жестоко избили и бросили в тесную грязную одиночку с вечно горящей лампочкой и немигающим глазком в двери. На последующих допросах Громов отвечал невпопад. Головная боль, однажды возникнув, повторялась при каждой встрече со следователем. Голос своего мучителя он слышал смутно, словно сквозь толщу воды:

- А теперь, гражданин Громов, потолкуем о вашем деле, и советую быть откровенным. Довольно играть в прятки. Мы

ведь знаем, что вам было предложено работать на американскую разведку.

- Я вам уже сказал, что мне никто и никогда не предлагал работать на американскую разведку, - мрачно отвечал обвиняемый. - Все мое общение с американцами сводится к тому, что группа студентов из Нью-Йорка, изучающих русский язык, преподнесла мне после спектакля букет цветов.

Оба, следователь и Ленин на портрете, смотрели на него осуждающе, и Громову иногда казалось, что допрос ведет сам Ленин.

- Подпиши эту бумагу и ты пойдешь жрать и спать, - перешел вскоре следователь на "ты".

Но артист упрямо не подписывал листок, который ему совали под нос, и его возвращали в одиночку с ненавистной электрической лампочкой, которая постепенно, как ему мнилось, разрасталась до размеров гигантского слепящего солнца, заполняя собой всю камеру.

Неожиданно Громова, к его изумлению, выпустили. В тюрьме он потерял двадцать килограммов веса и два зуба, выбитых следователем.

С работы его уволили. С трудом ему удалось устроиться счетоводом на заводе. Потекла однообразная будничная жизнь. Он чувствовал себя потерянно, томясь без театра, с которым был связан многообразными, сложными узами.

Однажды к нему пожаловал сам режиссер Булгаков. Он ввалился в комнату, неловкий, как медведь, и без приглашения плюхнулся в кресло. В роговых очках, с небольшой бородкой и проступающей плешью он был похож на врача и даже ходил с докторским чемоданчиком, в котором, кроме пьес и ролей, носил запасную пару носков и бутерброды.

- Виталий Сергеевич, - вкрадчиво сказал он. - Возвращайтесь в театр. Я беру вас под свою ответственность.

Громов был оглушен счастьем: он опять очутился в родной стихии - декорации, сцена, аплодисменты, репетиции. Жизнь наполнилась приятным содержанием. Даже мигрени почти прекратились. А если приходили, то были терпимы.

Как-то после очередной репетиции его окликнул Булгаков:

- Виталий Сергеевич! Подождите меня. Я хочу с вами поговорить.

Домой им было по дороге, и режиссер часто советовался с Громовым.

- Я хочу поручить вам одну роль, - многозначительно сказал Булгаков, когда они зашагали рядом по тротуару, на котором теплый апрельский дождь оставил блестящие лужи.

- Почему же такая торжественность? - удивился Громов, привыкший к главным ролям.

- А потому, что эта роль чрезвычайно важна и ответственна. Мы ставим "Кремлевские куранты" Погодина. Читали?

- "Кремлевские куранты"? Читал. В этой пьесе матрос Рыбаков - очень свежий и бывалый парень, но, мне кажется, я немного стар для него или он слишком молод для меня... О какой роли вы говорите? Не о Ленине ли?

- Совершенно верно, - подтвердил Булгаков, - о Владимире Ильиче.

- Нет, пожалуйста, я... - запнулся Громов. - Мне даже по внешности не подходит эта роль. Я не думаю, что справлюсь с ней. - В его глазах появилось беспокойство.

Но режиссер настаивал. Прощаясь, он вынул из своего чемоданчика пьесу и протянул ее актеру:

- Не советую вам отказываться от этой роли, - проговорил он жестко и ушел, не прощаясь.

Дома Громов опустился с пьесой в руках на стул. Голова стала тяжелеть, словно наливаться свинцом. Он бессмысленно глядел в окно, по стеклам которого весело барабанили дождинки.

Именно потому, что новая роль была Громову не по душе, он уделял ей больше времени, чем всем прежним.

После первой репетиции, прошедшей успешно, Булгаков развязно похлопал Громова по плечу:

- Поздравляю! Хорошо сыграл, сукин сын. Из тебя, дружище, вышел живой Ленин. Видно, что ты поработал. Так важно осознать, что в этом образе отражается этап в историческом развитии страны, когда нужно было заставить буржуазную интеллигенцию служить советской власти, проводить электрификацию России. Ты это понимаешь?

- Понимаю, - немного раздраженно ответил артист, - но вы ведь только что мне сказали, что довольны моей игрой.

- Вот послушай, - режиссер пропустил замечание собеседника мимо ушей, - что сказал Борис Смирнов, игравший эту роль во МХАТе.

В руках Булгакова появилась брошюра, и он начал читать: "Он (то есть образ Ленина) имеет влияние не только на зрителя, но и на самого исполнителя. Я раньше считал себя беспартийным человеком, но этот образ привел меня в ряды коммунистической партии".

Булгаков торжествующе улыбнулся и бодрым голосом продолжал:

- Несмотря на свою гениальность, Владимир Ильич не отделялся от других, не возвышался над другими, потому что ему каждый человек труда был дорог. Ведь Ленин был демократичен по самой своей исторической миссии. Вот что, например, о нем писал Маяковский:

"Он, как вы
и я,
совсем такой же,
только, может быть,
у самых глаз
мысли
больше нашего
морщинят кожей,
да насмешливей
и тверже губы,
чем у нас..."

Громов уныло молчал и в этот день, не дожидаясь режиссера, пошел домой один.

После каждой репетиции Булгаков возобновлял подобные разговоры. Нудные нотации режиссера действовали на артиста, как бесцеремонное вторжение в его актерское "святая святых". Булгаков же занимался этой "воспитательной работой" неспроста: если "Кремлевские куранты" будут иметь успех, его безусловно наградят орденом, о котором он страстно мечтал долгие годы. Лишь бы только не подвел Громов, который последнее время что-то стал хандрить и замкнулся в себе.

Премьера! Уже давно по всему городу были расклеены афиши. Публика с нетерпением ожидала нового спектакля.

В этот вечер Громов явился в театр рано, и гример сразу приступил к делу. Артист видел в зеркале, как его лицо постепенно превращалось в лицо Ленина, и думал о том, как трудно дается ему эта роль. Почему ему так близки герои Чехова или даже Шиллера? А Ленин, почти его современник, о котором столько известно, остается чужим?.. Он внезапно почувствовал стремительно надвигающуюся мигрень...

Когда артист появился на сцене, публика встретила его овацией, что еще больше усилило адскую головную боль.

Вот он в крестьянской избе доказывает детям, что он - настоящий Ленин, а на стене - лишь его портрет.

Громов сознавал, что в нем не произошло опьяняющего отрыва от действительности и духовного переселения в образ; он чувствовал, что играет вяло, неубедительно. Это заметила и публика, и теперь аплодисменты были уже не такие дружные. "Нужно создать образ Ленина, воспитательная сила которого колоссальна..." - пришла ему на память одна из недавних тирад режиссера...

За кулисами его уже ожидал разъяренный Булгаков.

- У меня ужасная мигрень. Замените меня Улановым, - взмолился Громов.

- Никаких замен! - затряслась жиденькая бороденка режиссера, и его басок снизился до зловещего шепота. - Запомни!

Подведешь меня - я тебе этого никогда не прощу! - его глаза сверкали бешенством.

Во втором действии Громов не участвовал. Надеясь, что свежий воздух успокоит нервы, он вышел в сад и жадно глотал аромат цветущей липы. Артиста не переставал мучить вопрос: "Почему мне так трудно играть Ленина?.."

И вдруг ответ пришел сам собой: ему явственно, словно при вспышке молнии, представился уютный кабинет следователя, побои, во время которых он ощущал на себе неприязненные взгляды - следователя и Ленина, словно двух соучастников преступления, издевавшихся над ним. А позже в камере - глазок в двери и под потолком раскаленная электрическая лампочка. Следователь, Ленин и электричество сливались в одну злую силу, направленную на его уничтожение... И Громов вдруг с отчаянием понял, что не сможет больше выйти на сцену и играть Ленина - ненавистного ему человека.

Начался антракт, публика выходила из зала на ярко освещенные аллеи сада. Две дамы заметили Громова, стоящего в тени.

- Владимир Ильич! - воскликнула одна из них. - Браво!

- Владимир Ильич! Браво! - отозвалось больно в его ушах.

Громов сорвался с места и быстро пошел к выходу. Очутившись на улице, он побежал. Ему казалось, что и тротуар, и тонкий серп луны, и дома твердили назойливым дружным хором:

- Владимир Ильич! Владимир Ильич! Браво!..

Между тем антракт кончился, но занавес долго не поднимался. Наконец, на сцене перед сдержанно гудящим залом появился Булгаков:

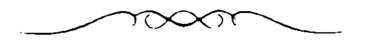
- Дорогие товарищи! - проговорил он, - мы сожалеем, но у артиста Виталия Громова сердечный приступ. Предпремьерные волнения, знаете ли... Его заменит Петр Уланов.

Громов, не разбирая дороги, долго бродил по пустынным улицам. Лысый парик Ленина сполз на затылок. Лицо потемнело от усталости. И только когда на востоке робко за-

брезжил утренний рассвет, он остановился, встрепенулся, приходя в себя, и поплелся домой. У подъезда его ожидали двое. Их машина стояла неподалеку.

- Пойдем, - сказал один из них.

Он покорно последовал за ними.





МАЛБЕРРИ СТРИТ

С наступлением весеннего тепла рано утром распахиваются настежъ двери магазинов. Под железное урчание пробегающих невдалеке поездов торговцы выставляют напоказ всякую снедь. И вскоре радуют взгляд горки золотистых дынь, пунцовая крупная клубника и пирамидки румяных яблок и апельсинов. В ящиках - манящие рубиновые россыпи черешни. Сельди продаются прямо из бочек, а мясо перемалывают при покупателях. Над улицей волнами плывет стойкий тяжелый дух рыбы, смешанный с ароматом фруктов. И еще что-то невидимое витает в здешнем воздухе - это веселая общительность людей, приветливость и сердечность. Здесь все знают друг друга.

На Малберри стрит есть и своя нищенка: тощая старуха - божий одуванчик. На ней побитая молью темная хламида и шляпка с остатком страусового пера, но она гордо несет свою седую голову. Говорят, что кто-то из ее предков был одним из пилигримов, причаливших к скале Плимут, поэтому к ней навсегда пристало прозвище Леди Мэйфлауэр. Продавцы верят, что она приносит счастье. Нищенка раз в день выходит на промысел: ткнется то в один магазинчик, то в другой. Таинственно пришептывая, отщипнет, точно птичка, осторожно и аккуратно своими беспокойными, обтянутыми пергаментной кожей пальцами виноградинку или листок салата. В пекарне ей дадут булочку, а в мясной - кусочек колбасы или кости для супа.

У каждого магазина свое обаяние. Особенно популярна "Королева моря". В глазах усатого, похожего на моржа, сутулого Боба всегда светится доброжелательность.

- Джо, что возьмешь сегодня - карпа или треску? - приятным баском обращается он к лысеющему кряжистому мужчине, возле которого крутится шустрый сынишка. Мальчик надоедливо рывками тянет отца за полу и ноет:

- Ну купи же, пап... хочу сегодня... купи...

- Чего парню так срочно захотелось? - весело обращается к мальчику Боб.

- Он у нас - Иегуди Менухин. Скрипку ему захотелось, - отвечает за сына Джо. - И зудит без конца. Но сегодня на аукционе скрипок не было. - Он разводит руками с рыжими, как бы восковыми мозолями, надавленными машиной для натирания полов. - Ах, эти дети. Осенью мой старший в колледж пойдет. Как мне справиться одному.

- Уж я-то знаю, что значит колледж, - сочувствует хозяин. - Много рыбки через этот магазин уплыло, пока выучился сын на доктора.

- А вы чего желаете, профессор? - спрашивает он пожилого господина с мрачным лицом землистого цвета. - У нас сегодня форель отменная.

Покупатель, жуя губами, выбирает рыбину и ворчит наставительно вдогонку отцу и сыну:

- Мальчик уже большой, а невоспитанный. Дети беспрекословно должны повиноваться родителям.

В магазин вбегает красивый итальянец, шофер Джузеппе. Его волосы, причесанные "на пробор", лоснятся от бриллиантина, - вылитый Рудольфо Валентино. Он ставит на пол большую коробку.

- Купил на аукционе, - хвалится он, - небьющаяся посуда, но не из пластмассы. Вот жена будет довольна!

Аукцион здесь же, рядом. В небольшом зале перед пюпитром ровными рядами сидят люди. А в задней комнате... чего только нет. Все эти вещи - заслуженные ветераны, хранящие шрамы и увечья от столкновений с множеством поколений людей. Среди мелкого хлама - люстра Тиффани с несколькими выбитыми стеклышками, корявые ножи и вилки и даже колокол без языка. Но есть и мебель, порой поистине музейная. И все это равномерно припудрено белесоватым, тусклым слоем пыли.

Из зала аукциона выплескивается скороговоркой:

- Картина маслом, в позолоченной раме! Семьдесят долларов. Семьдесят долларов - один! Семьдесят долларов - два! Семьдесят долларов - три!

Слышится громкий стук деревянного молотка: кто-то осчастливлен панорамой битвы времен Гражданской войны.

Под вечер в "Королеву моря" впархивает, словно бабочка-капустница, вся в белом молодая русская эмигрантка Шура: кудри рассыпались от быстрой ходьбы, солнечное сияние в глазах и рокочущий выговор.

- Получили работу, мисс? - заботливо спрашивает Боб, раскладывая на льду желтобрюхих окуней.

- Пока нет, - грустно отвечает девушка.

- А ваш жених все еще в "отказниках"? - безбожно коверкает он чужеземное слово. (Шура ему уже объяснила, что оно значит, как и слова "диссидент" и "ОВИР". "Интеллигентка с большими запросами", - думает он о ней.)

- С вас полцены, пока устроитесь, - Боб подает ей счет и приветствует проходящую мимо Леди Мэйфлауэр. Та отвечает ему детской улыбкой и что-то невнятно мычит.

На следующей неделе в "Королеве моря" те же знакомые лица.

- Безобразие, - негодует Джузеппе, - моя небьющаяся посуда оказалась сущей дрянью.

Глаза присутствующих округляются от любопытства. Итальянец забавно изображает, как уговаривал жену, чтобы она бросила тарелку на пол - "тогда она увидит чудо". Тарелка летит и... разбивается вдребезги. За ней - вторая. Он, не веря своим глазам, сам бросает чашку и блюдечко. И вновь разлетаются со звоном осколки. *"Mamma mia!"* - схватившись за голову, жена смотрит на черепки.

Джузеппе смеется, смеются и все в магазине.

- Как дела со скрипкой? - спрашивает Боб входящего полотера, сгоняя с прилавка муху.

- Наконец купил, старенькую, - отвечает Джо, - правда, не Страдивари, но мой сорванец в восторге.

Проходит еще какой-то месяц.

-Мне повезло, - радуется Джо, - моего старшего сына приняли в колледж со стипендией, теперь младший сможет брать уроки музыки.

- Вижу, мисс, у вас хорошие новости, - приветствует итальянец сияющую Шуру.

- Я нашла работу в большой компании, - улыбается она.

- А как с разрешением на выезд у вашего жениха?

- Все еще в "отказе", - у девушки между бровей ложится морщинка.

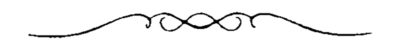
- Теперь в советском руководстве перемены, возможно будет другая политика, - говорит Боб.

- Ничего не изменится, - отвечает Шура. - Там новый лидер - это только новый всадник на старой, заезженной лошади.

- Вот курьез! - восклицает Джузеппе. - Америка готова брать всех русских эмигрантов, да их не пускают. Если бы всех итальянцев принимали в США, половина Италии сюда бы переселилась.

- Если бы из России всех выпускали, там осталось бы одно начальство, - говорит Шура...

На Малберри стрит люди живут дружной семьей. Здесь всем уютно. Такие улицы есть во многих городах, но это уже уходящая Америка. На смену маленьким магазинчикам приходят огромные супермаркеты, блещущие чистотой и безукоризненными пластиковыми упаковками. В них всегда стоит запах дезинфекции и даже в жару - арктический холод. Там нет мух и собак, но нет и теплых, задушевных отношений, согревающих сердце, и в долг никому не продают.





ЧТО НАМ СТОИТ ДОМ ПОСТРОИТЬ...

Чудесный апрельский день сам напрашивается, чтобы о нем написали. Я начинаю печатать на машинке : "Утреннее солнце, проглядывая сквозь кружево нежной листвы, приветливо улыбается и полыхает ярким золотом на..."

Бодро звякнул телефон:

- Это - ваш строитель, - отозвалась трубка.

- Здравствуйте, синьор Томасини, что нового?

- Через полчаса будьте на вашем участке, - быстро проговорил далекий голос с тяжелым итальянским акцентом.

- В чем дело? - спрашиваю с настороженным любопытством.

- Вы должны показать, какие деревья хотите оставить.

Я, бросив полный сожаления взгляд на пишущую машинку, стремглав несусь к участку, на котором мы собираемся строить дом. Так начинаются мои хождения по мукам.

Сперва у нас частые конференции, на которых обсуждается проект сооружения, материалы, их качество и цвет, начиная с дымовой трубы и кончая канализацией. Сразу возникают серьезные затруднения: наш синьор говорит по-английски чисто условно. И нет надежды, что его лексикон обогатится в ближайшие полгода, за которые, как мы надеемся, наш дом будет построен. Да и зачем ему теперь английский язык? После нашего дома он выходит на пенсию и возвращается в свою родную Италию. Чтобы создать гармонию отношений, мне необходимо извлечь из-под спуда мой забытый со времен войны итальянский.

Синьор Томасини - небольшой, целеустремленный, весь из сухожилий и мускулов, словно железный. Его кожа огрубела

от ветра и солнца. А выправка у него военная: в войсках Муссолини семь лет прослужил капралом. При самом пустячном разговоре по привычке в струнку вытягивается, точно рапортует.

Он рабочими - плотниками, электротехниками, водопроводчиками и малярами, - как послушными вассалами, распоряжается. А двое из них, самые приближенные, - его дюжие сыновья. Совсем римляне, разве что вместо тог на них поношенные джинсы и клетчатые рубашки нараспашку. Старший, Тони, - у отца всегда одесную. Он - ученый, инженер. А ошуюю Джо, верзила-студент. Оба они на строительстве только *мунлайтинг*, подрабатывают: один, чтобы уплатить за роды сейчас беременной жены, а второй - за университет. Я их, включая отца, "могучей кучкой" зову.

Лето уверенно шествует по холмам Нью-Джерси. Фундамент давно заложен. Дом растет не по дням, а по часам. Меня лихорадит от нетерпения. Вот и *ту-бай-фор* столбики выстроили в ряд, затем крышу возвели. Не успели оглянуться - облицовка фанерой закончена - стоят прямоугольные плоскости стен, и дом уже похож на жилище. Хоть ветер еще свищет в пустых проемах, но в жару это даже приятно - в войну и не в таких зданиях жили. Мы с Морисом, моим мужем, восторженно бегаем вокруг, щелкая умиленно фотоаппаратами, - дом в разных строительных стадиях запечатлеваем, как родители рост своего первенца. Настроение на самом высоком градусе. Живем мы с "могучей кучкой" душа в душу.

Муж при каждом удобном случае старается напомнить итальянцам о сроке окончания нашего детища.

- Ну, как идет работа? - спрашивает.

- *Benissimo*, - отвечает синьор.

- *Very good*, - убедительным тенором поддакивает Тони справа.

- *Very good*, - слышится зычный бас Джо слева.

- До Дня Благодарения переедем? - осмотрительно задает муж наш заветный вопрос.

- *Sicuro*, - отвечает синьор.

- *Sure thing*, - наверняка, - вторят дуэтом сыновья, и Тони добавляет:

- Индейку на День Благодарения будете есть в новом доме. На наших рабочих можно положиться. Мой отец с ними уже 30 лет в бизнесе. Долголетняя дружба.

Мы суетимся, бегаем по магазинам, выбираем кухонные шкафчики и кафель, краны и унитазы - мечемся, аж дух захватывает.

- Что вы так переживаете, - говорят нам друзья. - Вы же не сами строите. Отдохнули бы лучше. Силы после пригодятся.

Какой может быть отдых?!

У нас только дом и на уме. Такое возбуждение, точно перед далеким путешествием. Пишущая машинка с начатым очерком стоит - не притрагиваюсь. Корреспонденцию совсем забросила. Даже книг и газет не читаю. Но переживания не только радостные, на строительном пути оказалось множество рытвин и кочек. Черепицу по недосмотру положили двух оттенков неровными пятнами, точь-в-точь коза-дереза полбока луплена (обещали переделать, но после какой баталии!), окно в спальне почему-то очутилось на середине стены - кровать некуда поставить...

А тут вдруг - совсем "стоп машина": в нескольких кварталах от нас стали возводить кондоминиумы. И всех наших "вассалов", кроме самых приближенных, как не бывало. Они - люди практичные. Один дом им не гарантия на будущее, а там колоссальное строительство, грандиозный проект, контракт на пять лет обеспечен. Тридцатилетняя дружба как в воду канула. Остался наш Томасини на бобах, точно Наполеон после Ватерлоо.

Морис и так, и этак осторожно к Томасини подходит и умоляюще, глядя на него преданными глазами, спрашивает, как бы в шутку:

- Смогу ли я дом на Рождество красной лентой перевязать и жене подарить?

Крепко молчит наш синьор, будто в рот воды набрал, губы в нитку вытянулись. Потом отвернулся и как плюнет! Знать, плохи наши дела!

Чем дальше в лес, тем больше дров, - все силы против нас ополчились, даже природа. Холода наступили, а при низкой температуре нельзя класть цемент: позже рассыплется в пух и прах. А пока нет цементного пола на первом этаже, не на что ставить внутренние стены. Вот все и застыло. Наш дом, будто снежный кокон, зыбко проступает из белесой мути.

Мы продолжаем ездить к дому. На светлое чудо надеемся. Мы-то, конечно, с полным уважением относимся к проблемам строителя, но от этого не легче - живем под постоянным страхом, как на вулкане: старый дом уже давно продан, а его новый владелец угрожает нас через суд выдворить.

Муж нервничает, курить начал, аппетит пропал, только таблетки против повышенной кислотности глотает, без снотворного всю ночь бродит, как неприкаянный.

Незаметно март подошел, потеплело.

- В понедельник будем цемент класть, - извещает нас Томасини с победным видом.

Я, по-видимому, от радости свалилась с ангиной. А тут в ночь на понедельник рекордный мороз ударил. Я утром забила тревогу.

- Ради Бога, звони скорее Томасини, - тороплю Мориса, - выясни, что с цементом.

Муж к телефону.

- Томасини уже ушел на роботу, - говорит.

- Немедленно к дому! Останови их!

Муж на ходу меняет пижаму на брюки, в машину садится.

Через полчаса возвращается и говорит загробным голосом:

- Цементом полы заливают.

- Почему же ты не запретил?

- И слушать не хотят.

Мое воображение уже рисует страшную картину: на моих глазах цементный пол превращается в песчаные россыпи, стальные столбы кренятся, все строение трещит по швам и распадается, как карточный домик... Я ощущаю холодок мистического ужаса.

Одеваюсь, несмотря на стрептококки в горле. Мчимся на нашу стройку. А там жизнь замерла, точно в сказочном сонном царстве, только студеный ветер по свежезалитому цементу гуляет...

Поворачиваем домой. Когда проезжаем мимо строящихся кондоминиумов, меня внезапно осеняет мысль: узнать мнение тамошнего прораба. Входим - грохот, крики, звон, торжественное сверкание молотков и пил и... знакомые лица наших "изменников". Они встречают нас как родных. Прораб на мой вопрос отвечает:

- Я бы цемент не клал при такой погоде.

И добавляет не совсем убедительно:

- Правда, теперь разные антифризы есть, которые противостоят низкой температуре.

Томасини возвращается домой, когда у горизонта догорает закат. Накапливаемая мною целый день ярость начинает изливаться в телефонном разговоре. Но итальянец меня сразу перебивает. Он применяет испытанную военную тактику: самая верная защита - это атака.

- Вы мне не указчица! - его голос набирает высоту. - Я в этом бизнесе все зубы проел. Не *пушайте* меня, синьора!.. - и как грохнет в сердцах телефонную трубку.

Через неделю, выздоровев, я опять возле дома. Мы с Томасини не замечаем друг друга. Он даже отворачивается, и не только он, а вся "могучая кучка", как по команде, - голову налево. Назавтра я еще непреклонна. Наш же синьор на меня уже искоса поглядывает и с каждым днем все более благосклонно. Видать, такой уж итальянский характер - непостоянный, отходчивый. Замечаю, что у Томасини все ниже страдальчески опускаются углы рта, и он начинает на меня жаловаться соседям: "Гордая какая, даже не поздоровается". Насладившись вдоволь реваншем, я сдаюсь - мы пожали друг другу руки и обнялись, будто побратимы. Ах, как сложны наши отношения. Скачки - как температура при малярии. Кризис за кризисом. Все виды театрального искусства - от драмы до комедии.

О, нет, теперь я вижу, что строить дом - это не заманчивое далекое путешествие. Строительство дома можно сравнить

только с тяжелой беременностью: и тошнота, и недомогания, и головные боли, и эмоциональные срывы, и психологические травмы. Извелась я совсем - пожелтела, глаза ввалились, на правой щеке нервный тик, а левая бровь непроизвольно моргает, и даже заикаться стала. Знакомые иногда не узнают меня на улице.

Мы в этот дом все надежды, душу и сердце вложили, все долголетние трудовые сбережения до последнего цента. Все на одну карту поставили.

Тем временем весна сдалась знойному лету. Но и жара не идет нам впрок: влага одолевает. После шпаклевки глина не сохнет - нельзя ее наждаком шлифовать. Снова покраска отложена. С крышей же нам повезло: помогло загрязнение воздуха - черепица стала одного цвета. И цемент пока в отличном состоянии.

Опять осень на дворе. День Благодарения не за горами. Назначена, наконец, дата переезда в новый дом. Муж бросил курить, повышенная кислотность его больше не беспокоит, с аппетитом колбасу уплетает и спит без пилюль, как младенец.

Позже, когда мы будем распаковывать вещи, я найду в пишущей машинке начатый очерк.В нем я хотела отдать должное весне, красоте природы. Как наивно! Теперь же для меня превыше всего забота о ближнем: обязательно нужно предупредить тех, кто собирается строиться, о всех трудностях и заботах, которые их ожидают.

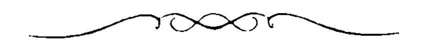
Сев за машинку, я перечитаю ранее написанные строки:

"Утреннее солнце, проглядывая сквозь кружево нежной листвы, приветливо улыбается и полыхает ярким золотом на..."

Подумав, быстро продолжу печатать: "... полу и стенах.

Бодро звякнул телефон.

- Это ваш строитель, - отозвалась трубка..."





НОВОСЕЛЬЕ

День переезда. Приближения этой даты мы ожидали с трепетом. В еще пустом новом доме, где уютно пахнет включенным первый раз отоплением и свежей краской, резонанс - как в театральном зале. Лишь одна комната, на первом этаже, доверху забита коробками и ящиками с фарфором, хрусталем и другими предметами, которые мы не доверяем даже профессиональным грузчикам. Там также находятся картины и, конечно, цветы. Ах, уж эти мне великомученики! Они, прежде роскошные, словно норовившие схватить своими буйными ветвями проходящего мимо за рукав или за ногу, последнее время чрезвычайно пострадали: их трижды - из-за откладываемых сроков переезда - подвергали радикальному обрезанию для удобства транспортировки. Теперь они стоят жалкие, угрюмые, с ампутированными конечностями.

Мой муж, пыхтя, втаскивает еще какие-то только что привезенные нами вещи. Бедняга осунулся от тягот, связанных со строительством дома и переездом. Да, впрочем, мы оба поседели, поблекли, измучились, потеряли сон. Недаром одна знакомая украинка, давно не видевшая нас, при встрече всплеснула руками и воскликнула: "Ой, лышенько, бачу вы строите соби не дом, а домовыну (гроб)!"

Спешу подбодрить Мориса и деланно шутливым тоном говорю с пафосом:

- Крепись, друг. Ведь мы успешно проплыли мимо опасных рифов строительства, - стараюсь высказаться пообразнее: - Появление на свет нашего дома можно сравнить только с затяжными родами, так как нам пришлось ожидать два го-

да вместо обещанных шести месяцев. Но наш "ребенок" уже налицо, еще немного - и отдохнем.

Морис, уныло улыбнувшись, безнадежно смотрит на меня.

- Отдохнем?! - указывает он на нагроможденные чуть ли не до потолка ящики, образовавшие полутемный каньон. - Подожди, вот скоро мебель привезут. Какой тут отдых!

А я, несмотря на усталость, уже счастлива. Еще бы! Я - хозяйка в новом доме, порхаю, точно бабочка, по гулким комнатам. За мной преданно, едва волоча ноги, следует муж. Но вот мой слух привлекает какое-то странное звяканье, повторяющееся с определенной частотой. Подойдя вплотную к окну, я остолбенела: там, где раньше между нашим участком и соседским, с ухоженным газоном и экзотическими розами, красовались вбитые в землю колышки с желтыми пластиковыми ленточками, возводится забор. Работает пара молодчиков сурового итальянского типа, одетых в красные куртки и джинсы. Это открытие сильно влияет на мое приподнятое настроение. Не видать нам, должно быть, доброжелательных, добрососедских отношений!..

- Смотри! Они от нас отгораживаются, - обиженно лепечу я.

Морис, озабоченный поведением незнакомцев, открывает настежь окно.

- *Hello!* С добрым утром, соседи! - старается он завязать разговор.

Мой муж - человек мягкий, неназойливый, тактичный и обходительный. Точно такой же у него голос. Но в ответ на его приветствие на "демаркационной линии" - гробовое молчание.

- Вот какое "добро пожаловать" они нам уготовили, - оскорбляюсь я за мужа и, сама до половины высунувшись из окна, кричу им:

- Эй! Что вы там строите?! (Хотя и дураку видно, чем они занимаются). - А мой голос, напористый и резкий, даже и глухой услышит.

Опять молчок. Лишь один из этих молодчиков делает какой-то неопределенный жест рукой, а другой с подчеркну-

тым враждебным любопытством беззастенчиво рассматривает меня несколько секунд своими бесстыжими глазами и затем отворачивается. Точно по команде, их плотные мускулы под кумачом начинают двигаться еще быстрее; в такт с ними трясутся густые, черные, как смоль, чубы. Даже их затылки, сдается, излучают явную неприязнь.

Проклятая мафия! От бессильной злобы слезы наворачиваются у меня на глаза. Но по-настоящему (на весь дом) я не успеваю разреветься, так как к гаражу уже подруливает, настырно трубя, фургон с мебелью.

Не время для распрей с соседями, когда начинается светопреставление! Из фургона появляются четверо богатырей: три с прическами "афро" и один русенький, усатенький. Они все несут, несут и несут, аж в глазах мельтешит. Движения точны, профессиональны. Шум, гам, крики: "Левей! Правей! Поворачивай! *One, two, three!*". Я тоже во всем горячее участие принимаю, в такт им покрикиваю: "Эй, ухнем!" Несмотря на их профессионализм, на девственно белоснежных стенах появляются царапины и пятна. А вот, втаскивая буфет, задели люстру с гирляндами висюлек из дымчатого стекла, которую я с таким трудом достала за тридевять земель отсюда. Люстра жалобно задребезжала, закружилась, засверкала томным блеском. Одна пластинка сорвалась и разбилась о навощенный паркет.

- Я такую же завтра принесу, - успокаивает меня Морис, заметив, как видно, мою опасно отвисшую нижнюю челюсть. Он поднимает осколок - образчик, чтобы потом подобрать пластинку под цвет разбитой, - и кладет его в карман, не найдя в общей суматохе более надежного места.

Вскоре на пороге появляется вся команда грузчиков с моей громадной красавицей-пальмой - такие рисуют только на рекламах для приманки туристов во Флориду: прямой стройный ствол, гордо поднятая царственная корона... Но что это произошло с моей "королевой"? Мороз пробегает у меня по коже: она согнулась, крона ее беспомощно повисла.

- Что вы с ней сделали? - стону я, выходя из состояния шока.

- *Take it easy*, леди, - старается увещевать меня кудлатый бригадир, - она не умещалась в фургон. Мы ее пытались впихнуть и слишком согнули. Велика беда! Купите себе другую. У нас на все есть страховка...

- Мне другая не нужна. Мне дорога вот только эта. Зачем мне ваша страховка, - прерываю я его.

Грузчики с удивлением глядят на меня. Я им стараюсь объяснить, что эту пальму я холю с самого ее младенчества, что она стала чуть ли не членом нашей семьи, что когда она занемогла, я с образчиком почвы и одним листочком бегала, сломя голову, по городу, ища сельскохозяйственное отделение Раттерского университета, и потом строго соблюдала предписанную для нее агрономом диету. Одним словом, я ей всю душу отдавала.

- Известно ли вам, - горько продолжаю я, трагическим жестом указывая вверх, - что этот "кафедральный" потолок - специально для нее, чтобы она могла свободно расти?!

Русоволосый что-то озабоченно шепчет бригадиру, тот утвердительно кивает головой. Они многозначительно переглядываются, вероятно, принимая меня за сумасшедшую. Да разве этим чурбанам понятна глубина моей скорби?! И я, махнув на них рукой, бормочу:

- Лубки, - и мчусь, перепрыгивая через мебель, в гараж, где прежде заприметила обрезки досок. Выбрав два из них и вытащив из кучи упаковочных ремней возле фургона один покрепче, возвращаюсь к моей изувеченной любимице, чтобы наложить повязку по всем правилам медицины. Внезапно рядом раздается громкий вопль мужа. Оборачиваюсь: он с искаженным лицом стоит перед бригадиром и его оравой, вытянув правую руку, и с его указательного пальца капает кровь. Он, очевидно, полез в карман, чтобы вручить рабочим чаевые, и порезал руку осколком стекла. От лубков я немедленно перехожу к бинтам. Ну и дела: точь-в-точь как в отделении скорой помощи! А грузчики переминаются перед нами с ноги на ногу, обеспокоенные неопределенностью судьбы их чаевых.

Наконец перевязка сделана; рабочие, получив мзду, удаляются, а мы с Морисом, лавируя в лабиринте вещей, на-

чинаем разносить коробки по комнатам. Трудимся, не покладая рук, до потери сознания. Только когда поздний отблеск пурпурного заката заиграл на щербатой дымчатой люстре, я заявляю мужу категорически:

- Шабаш! - и выхожу во двор подышать свежим воздухом. Там гнусная "итальянская мафия" уже закончила свое дело - нерушимо стоит шестифутовая, прямо-таки "берлинская", стена, не пропуская ни взгляда, ни ветра. Меня отвлекает енот, пробирающийся вразвалку через кусты. Он останавливается, приподнимает передние лапки и долго смотрит на меня своими глазами-бусинками, как мне кажется, с осуждением и упреком: он тоже возмущен нами, отобравшими у него территориальные права, так свято соблюдаемые в мире животных, включая приматов. Перевожу взгляд на знакомые колышки в конце нашего участка и вздыхаю с облегчением: "Слава Тебе, Господи, хоть эти соседи не имеют к нам претензий", - но тотчас обнаруживаю элемент мистики: колышки, раньше находившиеся у самых зарослей ядовитого плюща, теперь воинственно сиганули по меньшей мере на три фута на нашу землю...

Меня охватывает чувство острой ностальгии по нашему славному старому дому, с его ржавыми трубами, забивающимся певучим туалетом, крыльцом, грозящим отделиться от здания и уплыть в сад, и... добрыми соседями.

- Вот увидишь, страсти покипят и все устроится, - старается успокоить меня Морис. - Ты пойми здешних старожилов (вот уж святой: он всегда находит каждому оправдание!). Раньше перед их окнами шумел лес, в котором гнездились птицы, а теперь перед ними, как щепка в глазу, торчит наш дом. Они считают, что мы вторглись в их жизнь. Да и думают, возможно, что у нас куча крикливых ребятишек или целая псарня. Они нас узнают поближе, и все само собой образуется.

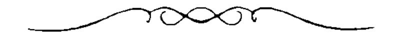
* * *

"Узнают нас и все само собой образуется", - слова мужа оказались пророческими. Представьте себе - все образовалось как нельзя лучше.

В конце усадьбы ленточки на колышках сорвал ветер, а сами колышки сбили соседские дети, гоняя мяч. "Итальянской мафией" оказалась замечательная молодая пара с очень подходящей к ней фамилией - Галанти. Кэрол - обаятельная красавица, а Ник, который с братом поспешно возводил забор, - директор школы. Мы живем с ними душа в душу. На праздники визитами обмениваемся. Ник старается всячески искупить вину за первый день нашего знакомства. В годовщину новоселья слышу звонок в дверь. Открываю. Там он стоит, протягивая мне с подкупающей улыбкой редкую оранжевую розу гигантских размеров, которая на любой выставке цветов наверняка завоевала бы первенство.

Что касается стены, - с ней случилось то же самое, что и с берлинской: появились везде пробоины - доски повыпадали. Стоит она обшарпанная, искореженная, накренившись на 30 градусов. Разумеется, строительство на скорую руку никогда не оправдывает себя! Когда крен достигнет 45 градусов, забор и сам повалится под действием земного притяжения. А скорее всего, его еще раньше удалят. Мы с Кэрол и Ником решили совместно засадить "демаркационную линию" розами и вечнозелеными растениями.

Да и в доме уже все на месте. Люстра починена. Даже цветы, несмотря на столь серьезное хирургическое вмешательство, опять превратились в джунгли. Пальма тоже выжила, правда, немного сгорбилась. Но, как известно, горбатое дитя мать еще больше любит.



САШЕНЬКА

Даже мелкие неприятности могут портить жизнь человеку. А на пути Сашеньки Имаса было достаточно выбоин и бугорков, о которые он то и дело спотыкался. Но тяжелым бременем легли на плечи этого глазастого существа, снедаемого любопытством к еще непознанной жизни, две проблемы: он - эмигрант и он - маленький. Что для мальчика значило слово "эмигрант"? Во-первых, это то, что он потерял своих друзей-сверстников Витю и Леву, которые остались где-то там далеко позади, за аэропортом Шереметьево; во-вторых, в новой стране, когда он выходил на улицу, детишки над ним подтрунивали и насмехались, так как он не знал английского языка. Кроме упомянутых неприятностей и потерь, у малыша существовали и другие горести. Вот, например, ТАМ дома, не всегда бывали на столе мясо и различные сладости, но когда они бывали, ему доставался, как самому младшему в семье, лучший кусок. А ТУТ холодильник был забит всякими деликатесами, но ему разрешали есть всего понемножку, "чтобы не жиреть". Вот как человек в эмиграции мучается!.. Да и с географической точки зрения ему не повезло: ТАМ он был москвичом, и за это его почитали и ему завидовали дети, когда он ездил летом к деду в местечко возле Минска, а ТУТ он живет в Ирвингтоне, Нью-Джерси. Сашенька сказал об этом знакомому еще по Риму мальчику, семью которого посетили в Нью-Йорке его родители, так тот только повел плечами: "Никогда не слышал. Что это - деревня?" Словом, куда ни кинь - всюду клин.

Каждый человек имеет свой отдаленный огонек, к которому стремится. Цель - это невидимый двигатель, это эликсир жизни. Сашенька, насмотревшись фильмов о диком Западе,

решил стать ковбоем, но и тут потерпел неудачу: у него не было не только лошади, но даже и велосипеда. И мама никак не соглашалась купить ковбойский костюмчик. Вот поэтому приуныл и загрустил наш малыш. Не удивительно, что он, услышав в супермаркете разговор на родном языке между двумя покупательницами, понесся к матери, сбрасывая с полок консервные банки. "Там наши! Идем к нашим!" - кричал он и тянул ее за юбку. Мать вечером рассказала об этом пришедшему с работы отцу. Она нежно обняла сынишку и употребила незнакомое ему слово "ностальгия". При этом ее глаза увлажнились, и она незаметно смахнула набежавшую слезинку.

Но, несмотря на невозможность стать ковбоем, ограничение в лакомствах и даже ненавистный Ирвингтон с насмешливыми детьми, Сашенька начал постепенно осваиваться в новом мире. И с языком пошло лучше - чужие слова одно за другим, как гвоздики, крепко вколачивались в его юный мозг, готовый к восприятию познаний. Как-то сразу он стал понимать английскую речь. Значит, эмигрантская проблема у него была, так сказать, на исходе. Но вот с тем, что он маленький, Сашенька никак не мог справиться. Мал - значит неполноценен, и это чувство он носил на самом дне своей души. Куда бы он ни пошел, чтобы он ни сделал - везде и всегда его ощущал. Даже при езде в автобусе. Ему так хотелось важно опустить монеты в отверстие, куда бросали мелочь, и глядеть, как они там, звеня, вращаются и сортируются. Но с него не взимали денег; водитель вообще его не замечал.

Мальчик обладал здоровым аппетитом, но молоко не любил.

- Не пьешь молока - перестанешь расти, - сказала ему мать во время ужина.

- От молока разве растут?

- Конечно, растут.

- Почему? - охватило его любопытство.

- В молоке есть витамин Д, который укрепляет кости и зубы.

С тех пор Сашенька стал пить непомерное количество молока, даже родители забеспокоились. Ему самому иногда ка-

залось, что молоко хлынет у него из ушей. Каждый день Сашенька просил, чтобы отмечали его рост в спальне на стене, отведенной специально для этого. Свое малолетство он особенно чувствовал в общении со старшим братом Мишей. Вот даже на гигантское колесо в Эзбери Парке, куда ездила в последнее воскресенье его семья, брата пускали одного, а возле него садился отец. И на всякое задуманное им предприятие был всегда один и тот же ответ: "Нет, этого ты еще не можешь сам делать, ты еще маленький". А у Сашеньки все бурлило от собственной инициативы, как весной в реке вода, распирая удерживающий ее лед. Вот-вот лед затрещит, расколется, и понесется свободно и беспрепятственно бурный поток самостоятельности. И мальчику на весь мир хотелось крикнуть: "Маленькие тоже все умеют!.. Маленькие тоже люди!.."

* * *

Цирку в детском сердце отведено особое место. Без цирка не бывает настоящего детства, как и без разноцветных карандашей и книг с картинками. Цирк - одна из сказок. Дети, словно подсолнухи к солнцу, тянутся к его рвущемуся к небу брезентовому куполу, ярко освещенной арене, к самоотверженно служащим своему юному зрителю артистам, к его ярмарочному шуму и гаму. Поэтому, когда мама сказала, что повезет мальчиков на следующей неделе в цирк, у Сашеньки сразу появился отблеск счастья на лице. Цирк радовал его больше, чем приобретение новой игрушки или даже мороженое с шоколадной подливкой на десерт. И сразу все Сашенькины горести отошли временно на второй план.

В долгожданный день поездки в цирк в квартире Имасов творилось столпотворение: одежда была разбросана по кроватям и стульям, папа брился в ванной, напевая какой-то марш, - он спешил к другу, который поможет ему заполнить анкеты для лучшей работы. По кухне, изображая всадника на невидимом коне, носился, крича "йиппити-ей", брат Миша в своем ковбойском костюмчике. Вместо плети он размахивал мамиными чулками. На него, жуя бутерброд за столом, неодобрительно поглядывал Сашенька и нудно тянул:

- Ма-ма, ма-моч-ка. Я хочу ковбойский костюмчик. Я-я так хо-чу... Ну, купи мне такой, как у Миши. Ку-пи, ма-моч-ка...

На плите громко и пронзительно, словно тренер, призывающий свою команду к порядку, засвистел чайник, а потом послышался раздраженный голос матери:

- Ешь, ради Бога, Саша, и не болтай ногами. Получишь такой же костюмчик, когда подрастешь, когда будешь, как Миша.

"Еще два года", - прикинул в уме мальчик и пришел в ужас от перспективы столь долгого ожидания. - Два года, - шутка ли! - От волнения он поперхнулся и закашлялся. Папа сразу стал стучать ему по спине, мама держала наготове стакан холодной воды. А Миша, продолжая щеголять обновкой, опять закричал свое дурацкое "йиппити-ей", и Сашенька, несмотря на то, что бутерброд пошел уже в "правильное" горло, отчаянно заревел - по его пухленьким щечкам к подбородку побежали ручейки.

Через полчаса все пришло в норму: папа с портфелем ушел, а остальные члены семьи уселись в машину. Брат с матерью придумали себе игру: стали отгадывать марки автомобилей, встречающихся по дороге. Сашенька, по малолетству, не мог принимать в этом участия. Его не радовали ни солнце, ни дети, катающиеся на роликах. У мальчика было испорчено настроение из-за ковбойского костюмчика. Он, забившись в угол, угрюмо-отрешенно смотрел на свою руку, отставляя два пальца - два года. Это был мостик между сегодня и тем заветным днем, когда ему наконец купят костюмчик. Да, он был уверен, что все его несчастья происходят из-за того, что он мал. Всюду он наталкивался на твердую и неподатливую стену своего малолетства.

* * *

Представление уже началось. По арене расхаживали клоуны с разрисованными лицами, в широких шароварах, париках и цветных колпаках. Они кувыркались, спотыкались или шутили друг с другом и этим смешили детей. А потом были на-

ездники на белых лошадях. Часто в цирке, чтобы произвести больший эффект, совмещаются два жанра в одном номере - наездники оказались чудесными акробатами, пересаживавшимися на ходу с лошади на лошадь и делавшими при этом разнообразные сложные трюки. А жонглирование совместили с ходулями. На арену вышли несколько великанов. Своим непропорциональным сложением они отличались от обыкновенных людей; их скорее можно было принять за инопланетян. Головы их находились где-то вверху, а доминировали огромные ноги в несгибающихся брюках. Молодой проворный конферансье представлял артистов: "Астронавт", "Ковбой", "Индеец" и так далее. Они все были одеты соответственно своим названиям. Детские сердца сжались в томительном ожидании. И вот вверх полетели кеглеобразные предметы, удивительно быстро мелькающие в воздухе. Номер исполнялся с необыкновенной точностью - ни одного лишнего движения. Несмотря на необычайное искусство всех жонглеров, все же выделялся один из них. Он как-то и ходил проворнее, и жонглировал лучше, покоряя своим мастерством публику. Это был "Ковбой".

Но вот гиганты закончили выступление и ушли. "Браво, браво, бис!" - в экстазе вызывал их зал. Ходули снова появились, они обошли арену и опять скрылись за кулисами. Но зрители продолжали аплодировать. Кто-то выкрикнул: "Ков-бой!" И зал начал скандировать: "Ков-бой!.. Ков-бой!.."

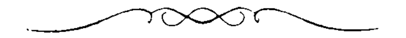
Освещение погасло, и на арену от прожекторов упало круглое пятно света. Внезапно в нем появился без ходуль "Ковбой", человек... вернее человечек... совсем мальчик... лилипут. Казалось, что единое сердце зала дрогнуло, пораженное удивительным превращением любимого геркулеса в пигмея. На несколько секунд воцарилось гробовое молчание. Цирк застыл в чуткой неподвижности. Дети еще не приняли умом этой метаморфозы. И тогда тишину разорвал звонкий голосок Сашеньки:

- Ага! Вот видите! Маленькие тоже хорошие! Маленькие тоже умеют все! Ага!.. - крикнул он на ломаном английском языке.

Видимо, этот возглас выражал для малышей ту сокровенную истину, которую им приходилось беспрестанно отстаивать в мире взрослых. И зал, набухающий неистовой поддержкой Сашиных слов, неудержимо закричал:

- Браво! Браво, "Ковбой"!.. - Дети радовались за это маленькое создание, которое сумело обрести успех в жизни. А у карлика расцветала на лице улыбка.

Особенно громко аплодировал и кричал Сашенька, до боли в горячих ладошках, до хрипоты в голосе, победоносно поглядывая замутившимися от волнения глазами на брата и мать. Молодая женщина внимательно и удивленно смотрела на своего младшего сынишку, будто видела его в первый раз. А на следующий день для Сашеньки был праздник - он получил подарок: ковбойский костюмчик и чудесные сапожки.





ВЕЛИКАН

Было жарко и душно. Солнце щедро бросало свои лучи на нью-йоркские небоскребы. Оно, проникая в глубокие каньоны улиц, играло бликами на лоснящихся лицах пешеходов и вспыхивало яркими искрами на никеле автомобилей. В вечно бодрствующем городе-гиганте, крикливом и бесноватом, неутомимо кипела жизнь, пульс его бился громко и учащенно. Где-то что-то визжало, что-то ухало. Иногда из общего грохота и гомона выделялся пронзительный, свирепый вой сирены, который постепенно ослабевал, словно стынул вдали. Вдруг отчаянно быстро из-за угла с трезвоном вынырнула пожарная машина, как красное диковинное насекомое, на ней - лихие парни в блестящих шлемах. Ей последовала вторая, третья... Движение остановилось. Образовалась пробка.

Я ехала на встречу русских поэтов с читателями и, находясь в автобусе, с тревогой поглядывала на часы. Я опаздывала.

В просторном зале на сцене уже читал стихи темноволосый, широкоплечий мужчина. Он читал с подъемом и вдохновением. Слова из его уст лились подобно торжественной мелодии. Публика замерла, слушая его с напряженным вниманием и восхищением. Это сразу передалось и мне. Я как-то вся внутренне насторожилась, уловив сюжет читаемых строк, и удивилась совпадению. В них было то, что я несколько минут назад видела своими глазами и только что оставила за дверью. В них был Нью-Йорк, город развязный и вызывающий, но вместе с тем гордый, загадочный и никогда не лишающийся своего праздничного звучания, город, где "в узком уличном плену ползли гуськом автомобили, как аллигаторы по дну". А на пе-

рекрестках "в разноликой суете пространство распинали люди на этом уличном кресте".

Когда поэт умолк, несколько мгновений еще царила тишина, затем раздались громкие аплодисменты: слушатели вознаграждали его за доставленное им удовольствие... Потом он читал о сквере со статуей в нем, о сквере, который я пересекла по дороге сюда:

Там, в сквере, пять иль шесть
Деревьев оголенных.
Но как-то страшно сесть
У этих голых кленов.

Там пьяницы сидят.
И Данте Алигьери,
Как страж у входа в ад,
Поставлен в этом сквере...

Поэт покорял людские сердца. Он превратился в волшебника. Его стратегией был талант, умение свободно держаться перед залом, прекрасная дикция. Звучные рифмы, блеск метафор, богатство образов... Его сильный голос доносился к нам откуда-то сверху, со сцены, и казался голосом великана. Меня все больше охватывало горячее волнение. Только тогда, когда поэт закончил чтение, я спросила свою соседку:

- Кто он? Как его зовут?

- Иван Елагин, - ответила она.

Это имя мне было знакомо еще в Германии - не раз мне попадались его произведения в зарубежных периодических изданиях. Я знала, что он очутился на Западе, как и все мы, во время войны. Его настоящее имя - Иван Венедиктович Матвеев. Но этим мои сведения о нем и ограничивались.

В перерыве Елагин сидел за столом в партере, подписывая свой новый сборник "Отсветы ночные", выпущенный накануне издательством "Нового журнала". Вокруг него сгрудились люди. Я, протолкнувшись к столу, купила книгу, но не отошла, а, потоптавшись в нерешительности, спросила:

- Могли бы вы, Иван Венедиктович, приехать к нам в гости, в Нью-Джерси? - и наугад добавила: - С вашей супругой, конечно.

Елагин, доброжелательно вскинув на меня свои темные выразительные глаза, задумался на несколько секунд.

- Хорошо, - просто ответил он. - Мы с "Елкой" приедем. (Елкой, как я позже узнала, называли в семейном кругу его жену Ирину.)

Мы условились встретиться в полдень через неделю в Ньюарке возле здания "Паблик Сервис" на последней остановке нью-йоркского автобуса. Оттуда я должна была забрать гостей машиной к себе домой за город.

Я тщательно готовилась к этой встрече, как ученица к экзамену. Мне хотелось узнать об Елагине как можно больше. Я ознакомилась со всеми его произведениями, включая комедию-шутку "Портрет мадемуазель Таржи", достать которую мне стоило немалых трудов. Мне было уже известно, что поэт родился во Владивостоке, а учился в моем родном Киеве на медицинском факультете - мечтал стать хирургом. Но война помешала ему осуществить свои планы. Еще в детстве он увлекся литературой, любовь к которой передалась, по-видимому, генетически от деда, хорошего публициста-краеведа, и от отца, поэта-футуриста. "Литература у нас в крови", - позже объяснил он мне.

День нашей встречи выдался чудесный. Океанский ветерок развеял липкую влагу, долго стоявшую над городом, и сразу стало легко и свободно дышать. В условленное время я была уже на месте, внимательно всматриваясь в лица прохожих. Так как я "Елку" прежде и в глаза не видела, я искала в толпе Елагина. В моей памяти навсегда запечатлелись его проницательные, жгучие глаза на одухотворенном лице и громогласный голос, доходивший до слушателей откуда-то сверху. Голос великана. Поэтому мое внимание привлекали самые высокие мужчины.

Мимо меня спешили люди, несколько человек стояли в тени у стены, ватага негров-подростков пронеслась с гиком по тротуару, выбрыкивая ногами, на них тявкнула завертевшаяся

на поводке собака; мать провезла колясочку с младенцем, но нигде не было видно моего великана. "Может быть он передумал", - пришла в голову мысль, и мне стало досадно. Я обогнула "Паблик Сервис", но и на другой стороне здания не нашла своих гостей. Время шло. Я, расстроенная и огорченная, подумывала уже возвращаться домой. У входа в метро стояла пара: интересная блондинка с коротко подстриженными волосами и мужчина, который, как мне показалось, внимательно посмотрел на меня. Не придав этому значения, я прошла дальше. Но, как видно, взгляд мужчины что-то всколыхнул во мне - так расходятся от брошенного камня круги по поверхности водоема. Этот взгляд заставил меня вернуться назад, и я узнала, наконец, самого поэта. Отнюдь он не был высокого роста. Смущенно я протянула ему руку. Теперь я поняла: талант, вдохновение и пыл, с которым он читал на сцене стихи, в моем воображении воплотились каким-то странным образом в его физический облик. Я его увидела сквозь призму творческого величия... великаном.

От этого посещения у меня остался подаренный поэтом сборник стихов "По дороге оттуда", опубликованный издательством Чехова, с надписью автора: "В память уютной встречи... 1-го июля 1963 года". Эту книгу я свято берегу. И еще до сих пор живы во мне воспоминания о далеком летнем дне, наполненном солнцем и мелодией стихов.

Я продолжала встречаться с Иваном Елагиным на литературных вечерах и следила за ним и его творчеством по газетным заметкам: у Елагиных родился сын... осуществилась заветная мечта поэта - он получил высшее образование... докторскую степень в Нью-Йоркском университете... он - профессор Питтсбургского университета, в летнее время его ежегодно приглашают в русскую школу в Миддлбери (Вермонт). В печати постоянно появлялись его произведения и отзывы о новых сборниках... И вот - сообщение о его капитальном труде на несколько сот страниц - переводе романа в стихах из американской истории "Тело Джона Брауна" Стивена Винсента Бене. (Джон Браун - один из борцов за права негров в период Гражданской войны). "Если бы роман 'Война и мир' Толстого был

написан стихами, то это было бы, наверное, единственное произведение в русской литературе, которое можно было бы сравнить с поэмой 'Тело Джона Брауна' ", - писала пресса. Поэт-переводчик проработал над ней пять лет. Несколько глав этой эпопеи вскоре появились в журнале "Америка", издающемся в Соединенных Штатах на русском языке и продающемся в Советском Союзе, где Ивана Елагина теперь широко печатают.

И правда, - не обязательно обладать высоким ростом, чтобы быть великаном.





СОСЕДКА

Волынские переезжали в собственный дом. Разгрузка шла дружно. Плотный и плечистый Юра Волынский, по профессии бухгалтер, а теперь продавец обуви, носил, пыхтя и кряхтя, вещи. У него на голом темени, веерообразно обрамленном желтоватым пухом, выступили крупные капли пота, а клетчатая рубаха прилипла к спине. Его всегда элегантную жену Раису трудно было узнать: старая косынка, несвежий, криво повязанный передник, усталое лицо без косметики... Подавая с грузовика чемодан своему нескладному, худому сыну-школьнику, она впервые увидела соседку. В окне кирпичного дома приподнялась занавеска. Красноволосая немолодая, крупных габаритов женщина с тройным подбородком и тяжелым взглядом беззастенчиво разглядывала ее. Раиса Викторовна мило улыбнулась ей, но занавеска как-то даже демонстративно рванулась вниз. От этого незначительного инцидента в душе приветливой женщины остался какой-то неприятный осадок. Она продолжала искоса поглядывать на недружелюбное окно, где через нейлоновые занавески все еще смутно маячило очертание пухлой руки.

Утомленные Волынские спали первую ночь на новом месте сном праведников.

Раиса пробудилась с ощущением тихой радости. Пахло краской, свежо белели стены, и уютно поскрипывал где-то сверчок. Только теперь она осознала, как необходим и важен был для нее этот долгожданный свой дом. Она с восторгом осмотрела сад, где у невысокого деревянного забора благоухали розы. "Какая прелесть, - подумала она. - Мои любимые цветы".

Во дворе соседки висело почти сплошной стеной выстиранное белье. Когда на эту "парусную флотилию" набегал ветер, простыни надувались, образовывая просветы. И тогда было видно, что посреди двора важно восседает, как сфинкс, сама хозяйка.

- *Hello!* - поздоровалась новоселка. Ее, как видно, не услышали. Тем временем ветер утих, и простыни опустились чуть ли не до самой земли. Только через несколько минут новый порыв ветра вновь сделал двор похожим на залив во время регаты: простынные парусники, толкая друг друга боками, с катамараном белых брюк на левом фланге понеслись в шуршащую зелень ветвей.

- *Hello*, соседка! - с надеждой, очень громко опять крикнула Раиса. Но белье уже опускалось, и за ним по-прежнему царило безмолвие.

Днем Раиса, хлопотавшая в кухне, услышала сначала отрывистый собачий лай, затем ворчливый женский голос. Это повторилось несколько раз. Но вот внезапно грянул военный марш - будто перед самым домом проходил парад. Волынская, выронив от неожиданности солонку из рук, взглянула в окно. Утренние "паруса" уже уплыли. Соседка сидела в алюминиевом кресле, роскошно развалившись и победно вскинув голову. Рядом на столике стоял, подобно допотопному чудовищу с изогнутой шеей, старинный граммофон. Когда-то зеленый, а сейчас проеденный ржавчиной рупор был направлен, точно жерло пушки, на позицию врага: во двор других соседей, где, поджав хвост, спасался в самом дальнем углу насмерть перепуганный черный пес. И долго еще продолжалась звуковая расправа над провинившимся животным.

Когда Юрий Волынский уверенным шагом законного владельца после работы входил в дом, лицо его сияло.

- Ну, как провела день? - спросил он весело.

- Электричество и газ включили, - ответила жена, поспешив радостно ему навстречу. - Все замечательно. Вот только... - она запнулась.

- Что только?

- Мне кажется, что у нас неприятная соседка.

- Почему? - насторожился муж.

- Она еще вчера за нами из-за занавески как-то неблагожелательно следила.

- Пустяки. Я уверен, что это тебе показалось. Если она на нас и взглянула в окно, так из любопытства. - К нему возвратилось хорошее расположение духа, и Раиса не хотела чем-либо омрачать первый день мужа в собственном доме.

Когда после ужина отец и сын Вольнские прилипли к телевизору, а Раиса убирала в буфет посуду, раздался звонок. У двери в просторном балахоне, делающем ее еще более необъятной, стояла соседка. Ее гладкое лицо улыбалось.

- Драгица, - представилась она вежливо, и из-за ее спины появился огромный букет. - Для вас. - Это были крупные розы, бархатные, темно-бордовые, почти черные, и нежно-кремовые, распространявшие тонкий аромат.

- Входите, входите же, пожалуйста, - хозяйка была явно тронута вниманием.

Цветы она поставила в хрустальную граненую вазу и стала угощать соседку кофе и печеньем. "Я в ней ошиблась", - обрадованно думала Вольнская.

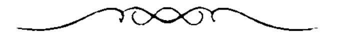
Тем временем Драгица, навалясь богатырской грудью на стол, сообщила свою родословную: ее отец и мать из Сербии, но она сама родилась уже в Америке. Здесь вышла замуж и рано овдовела. У нее есть замужняя дочь в Чикаго и внук-подросток, сорванец.

- ...Дом у меня большой, - продолжала она, - а я одна, так я теперь квартирантов имею, одиноких мужчин. Никогда женщин не беру. Женщина целый день варит да стирает - воду и газ расходует. Невыгодно.

В свою очередь Волынская поведала ей о жизни в коммунальных квартирах, измочалившей ей нервы на далекой родине, и о радости иметь собственный дом.

И все стало так ясно, хорошо и просто между двумя женщинами - ни заминки, ни складочки, словно разгладили их отношения горячим утюгом.

Наутро Раиса вышла на крыльцо. Косые лучи солнца густо просеивались через листву и рдели на дорожках. Она осмотрелась и... остолбенела: розы, прекрасные розы... где они?.. В ее саду не осталось ни одного цветка...



ЛЕНДЛОРД

Солнце плыло по безоблачному синему небу, щедро осыпая знойными лучами снежно-белые стены двухэтажного здания в виде буквы П и его внутренний сад. Мы с мужем, стоя с чемоданами под вывеской "Восходящая звезда", невольно залюбовались этим флоридским раем, где лениво шуршали своими веерами стройные пальмы и лиловым каскадом спускалась с балкона цветущая бугенвиллия. Вдруг я почувствовала на себе чей-то пристальный взгляд и обернулась. На нижнем этаже, в глубине крайней квартиры, через сетчатую дверь с надписью "*Manager*" тускло вырисовывался в кресле дебелый лысый мужчина. Он не замедлил появиться на пороге - уже в капитанской белой кепочке, на ходу застегивая полосатую рубашку. У него было жесткое скуластое лицо и черные проницательные глаза, выпуклые, как у рака.

- Я - *лендлорд* и *менеджер*, - пророкотал он баском и бросил руку в приветствии к козырьку. - Меня зовут Остапом Сливой. Мне о вас уже говорили.

Нас сюда привела неотложная нужда в квартире: Ефремов, у которого мы обычно останавливались, почему-то не получил нашего письма с чеком, и его отель оказался уже переполненным.

- А вот, - ткнул небрежно хозяин толстым пальцем в бумагу на доске под балконом, - потрудитесь прочитать. Это - Остапа Сливы "коммандаменты" (исковеркал он английское слово - заповеди). Он не упустил случая сделать мимоходом несколько ядовитых замечаний о нерадивых жильцах, и его палец спустился к следующему абзацу.

- Здесь написано, - продолжал он, - что все квартиранты должны внести *секюрити* - залог - за сезон 200 долларов, а за

месяц - 75. Это защита моего имущества, моей прибыли, - он похлопал себя по карману, - там зазвенели монеты. И мне показалось, что в его зрачках вспыхнули желтые алчные огоньки.

Хозяин произвел на нас впечатление самодовольного и придирчивого торгаша. Мы с мужем, словно сговорившись, взялись за чемоданы, чтобы попытать счастья в другом месте. Остап Слива понял наш жест иначе: нам оказался не по душе залог.

- Добре, добренько, - обратился он уже более мягко ко мне, разглаживая пышные усы, - для вас, землячка, пусть будет без *секюрити*.

Теперь нам было как-то неудобно уходить. Хозяин вынес расписку и, сидя напротив нас под зонтиком, пересчитывал деньги. Он звучно плевал на большой палец и сопел с присвистом.

- Все семьсот - как на параде, - наконец довольно объявил он.

К цифрам, по-видимому, он питал огромное уважение и выговаривал их вдохновенно, с особой интонацией, будто крылатые слова.

- Лю-ба! Иди сюда! - позвал он громко.

Из-за угла прытко выбежала женщина средних лет в грязных шортах и с метлой в руке.

- Отведи людей в десятый номер. Ну, чего стала. Иди! - торопил он ее грубовато, опять занявшись своими усами.

Я рассмотрела Любу только в квартире: ничем не примечательная, на востроносеньком, красном от солнца, потном лице выделялись только изумрудно-прозрачные глаза, глядящие как-то бочком, не то растерянно, не то испуганно.

- Остап Слива - ваш босс? - спросила я ее по-украински.

- Та ни, - мой муж. А вы по-нашему балакаете! - обрадовалась она. - Хоть будет с кем словом переброситься, а то живем на отлете, как волки.

От возбуждения она даже похорошела. Мы разговорились. Вскоре я уже знала, что она с Остапом работала в Германии у *бауэра*, после войны они поженились и выехали в Амери-

ку, сначала в Кливленд. Во Флориде они уже девять лет, - вот тогда и дом этот купили.

- Лю-ба! Иди сюда! - раздалось требовательно со двора. На лицо женщины сразу набежала тень, она выскочила из комнаты со стремительной поспешностью, забыв на столе связку ключей. Чтобы их отдать, я вышла за ней, но у двери хозяина остановилась, услышав его голос.

- Ты, Люба, - настоящая дура. Чего это ты с ними якшаешься? Я же тебя учил: будешь друзьями с квартирантами, каши с ними не сваришь.

- Так я же... - кротко пробовала оправдаться жена.

- Моллюск видела? - прервал он ее со злобной досадой. - Внутри нежная мякоть, а снаружи твердая броня. Вот и мы должны такой панцирь одеть. Мы же теперь в Америке, а не дома, на ниве широкой. Не давай себя никому "юзовать" (произнес он на свой лад английское слово - использовать)...

Я, повесив тихонько ключи на ручку двери, отошла.

- Что за тип, - пожаловалась я мужу, - самодур какой-то. Свою благоверную в ежовых рукавицах держит. Как бы нам отпуск не испортил.

- Будем, по возможности, избегать его, - ответил он, - и наслаждаться природой. Здесь действительно чудесно.

В окно были видны два фикуса, обнявшиеся, как братья. Над ними носились чайки, косо ускользая к голубому заливу, обрамленному тропическими джунглями и золотистыми пляжами, влекущими к себе, - так хотелось на них растянуться. Все казалось нарочито ярким. Это была настоящая сказка после оставленных всего несколько часов назад на севере вьюг, оледенелых водоемов и хрустящего снега под ногами.

С "коммандаментами" я ознакомилась более детально на следующий день. Их оказалось двадцать. Там были обстоятельно изложены все нюансы отношений между владельцем дома и жильцами, начиная с появления тараканов и блох в "Восходящей звезде" и кончая денежными делами. В это время Слива в своей кепочке, которая (как я позже удостоверилась) составляла неизменную часть его "панциря", категорически заявлял высокому мужчине:

- Мистер Бэйли, если ваш гость не уедет до конца недели, я добавлю вам десять долларов в месяц за воду. У вас теперь всегда оркестр. - И он громко продемонстрировал, как журчит в кранах и гудит спускаемая в туалете вода.

- Ну, как мои "коммандаменты"? - подошел он ко мне. - За их перевод двадцатку отвалил. Зайди ко мне на минутку, - кивнул он с заговорщицким видом, переходя на "ты", - на что, по его мнению, давало право наше землячество.

В квартире, мало чем отличающейся от нашей, в углу теплилась лампадка перед иконой, украшенной вышитым рушником, и на стене висели фотографии. На одной из них - молодой парень.

- Это я, - объяснил Остап и подтолкнул мне стул. - Садись и напиши заявку по-английски в сити-холл.

На следующий день я уже переводила обращение к жильцам, подобное правительственному манифесту, а затем последовали уведомления квартирантам о частичном или полном удержании *секюрити*.

- Как вы уже сейчас можете знать, сколько удержать с каждого? Ведь сезон не кончился, - удивилась я.

- Пиши цифры карандашом. Я позже уточню. А то, что я отчисляю, - каждому понятно: все вещи за сезон старятся, как и мы с тобой, землячка, - сострил он.

- Так вещи следует списывать с общего дохода...

- Ну и смешная же ты, - покачал он головой. - Я свой капитал вложил в этот дом, налоги плачу. А остальное - прибыль, заработанная моими кровавыми мозолями!

Он уже горячился, бил себя в грудь и с открытым презрением смотрел на меня. Я больше не старалась вникать в его сложную "высшую математику".

Наша квартира и хозяйская были напротив. Поэтому мы постоянно слышали голос Остапа. То он наставлял на путь истинный свою супругу, то разносил в пух и прах своих жильцов. Особенно плохо приходилось "рецидивистам". В этой неприятной "мелодии" рефреном звучало: "Лю-ба! Иди сюда!"

Его робкая жена, к которой я сразу прониклась симпатией и которая нас теперь избегала, была совсем забитым, ра-

ботающим неустанно, как вол, существом. Кроме собственного хозяйства, она исполняла обязанности садовника и уборщицы для всего дома.

- Работать - здорово, - хозяин подзадоривал жену и называл ее телкой.

Для Сливы отдых наступал только вечером. После ужина он появлялся во дворе. Все квартиранты сразу же прятались. А он шел медленно важной походкой, заложив руки за спину и окидывая строгим, бдительным оком свою "пропертю" (как он выражался). Он даже заглядывал под запаркованные машины в поисках масляных пятен - еще одна причина для удержания залога.

Однажды я вышла на раннюю прогулку. Утро ослепило меня взрывом солнечного света. До моего слуха донесся странный звук: тю-тю-тю-тю. Это был мужской призывный, ласковый голос, перенесший меня в далекое детство, в село под Киевом, где мы иногда отдыхали летом. Так сзывала наша хозяйка своих хохлаток. Тю-тю-тю-тю, - опять раздалось монотонно-вкрадчиво. Это был Остап. Он стоял с непокрытой головой и с мешочком в руках, глядя на провода, увешанные, как нотная линейка нотами, воркующими голубями. Вот он, решив, что все "званые гости" уже явились, бросил пригоршню крошек на асфальт, наблюдая с умилением, как птицы ринулись к угощению. Они поспешно клевали, хлопали крыльями и хитрили, чтобы схватить кусок побольше. И на устах грозного *лендлорда* расцветала добрая улыбка, от которой его лицо становилось неузнаваемым, даже красивым и наивным. (Таким он был запечатлен на старой фотографии.) С ним произошла удивительная метаморфоза. Недаром мне вспомнился его разговор с Любой в день нашего приезда,и я подумала: "Под устрашающей ракушкой еще остался уязвимый Остап Слива, у которого в груди бьется сердце простого крестьянина, беззаветно любящего природу и животных и ничего общего не имеющего с бизнесом, где вечно идет борьба - не на жизнь, а на смерть". Но вот Остап заметил меня и смутился:

- Кормлю, землячка, Божьих тварей. Смотри, тут они все, как на параде, - коротко хохотнул он и сразу изменил тему,

указав на куст олеандра со светло-розовыми соцветиями. - Понюхай - хорошо пахнет. Чужие нам цветы, не то, что наша сирень или бузина. Да и все здесь не так, как дома... Хотя бы раз побывать там...

В его глазах появилось мечтательное выражение.

Когда я возвратилась после часовой прогулки, Слива уже опять был *лендлордом* "Восходящей звезды" и, сердито махая рукой перед носом благообразной старушки, запрещал ей приводить к себе на весь день внуков. От прежнего Остапа, кормящего "Божьих тварей", ничего не осталось. Створки бронированной ракушки успели уже герметично захлопнуться.

Как-то раз я услышала под окном приглушенный плач. Там на чемодане сидела Люба. Я ее привела к нам и начала расспрашивать, что случилось.

- Ой, Боже... Какой срам... Остап меня выгнал из дому, - едва разобрала я через всхлипывания. Женщина от обиды и стыда вся дрожала. Я ей налила чаю. Немного успокоившись, она заговорила:

- Пришел агент застраховать машину. Остап с ним раньше по телефону договорился на сто пятьдесят долларов (за три месяца). А агент в последнюю минуту взял да и повысил цену. Остап говорит - моя вина... - Ее голос опять сорвался в плач, но она продолжала сквозь слезы: - Я сказала, что Остап много лет был без *иншуранса*. Думала агент поймет так: не было страховки - значит хороший шофер - не нуждался в ней. А он понял иначе...

- Ваш Остап всегда к вам так относился? - спросила я.

- О, нет. Он был добрым человеком. У нас любовь была. Но с тех пор, как купили дом, характер у него испортился. С людьми не умеет жить - все его "юзуют", ему кажется. Я бы эти дурацкие "коммандаменты" в мусор выбросила, да и дом продала. Кому деньги оставим? Детей у нас нет. С людьми нужно жить по-людски, а он никому не доверяет, по квартирам ходит, когда жильцов дома нет, в их вещах роется.

- Мне не совсем понятно, - удивилась я, - как могут жильцы на следующий год к нему возвращаться?! Ведь он сам себе бизнес портит!

- Те, кто побывал у нас, не возвращаются. Но только мороз ударит, вся Канада на Флориду стеною идет - отбою нет...

- Лю-ба! Иди сюда! - вдруг прозвучало повелительно.

Хозяйка засуетилась, кулаком вытерла глаза, оправила волосы и с чемоданом поспешила на зов.

Хотя нас лично Слива ничем не донимал, меня в его доме не покидало ощущение, что за нами постоянно следят. Он одним своим присутствием угнетал всех окружающих, оказывая на них тягостное давление. Лишь он, один-единственный в доме, чувствовал себя превосходно - "... и тот, кто всех собой давил, свободно и дышал, и действовал, и жил", - вспоминала я Некрасова.

Мы радовались, когда настал день нашего отъезда.

Следующие несколько лет мы не бывали во Флориде, но со временем снова решили поехать туда. К нам как раз зашел давний друг, только что возвратившийся из знакомого нам городка на юге. Он жаловался, что там нет духовной жизни:

- Там всегда интересуются только размерами кондоминиумов, из скольких единиц состоит мотель или отель и какую приносит прибыль. Если разобраться, все они хорошие люди, но отошли от своих истоков и занялись незнакомым делом. Успех им вскружил голову.

- А с Остапом Сливой вы встречались? - поинтересовался муж.

- Он умер три года назад. Теперь там его жена хозяйничает.

- Почему бы нам не остановиться у Любы, - предложила я, когда гость ушел. - С ней нам будет привольно и легко.

Сказано - сделано.

Когда мы вышли из машины перед "Восходящей звездой", сад, как и когда-то, цвел и благоухал в лучах солнца. Я заметила на знакомой нам доске какую-то бумагу. Это были "коммандаменты", но не двадцать, как прежде, а уже тридцать. Сама хозяйка перед прачечной язвительно выговаривала молодой женщине (по всей вероятности, работнице) за плохо помы-

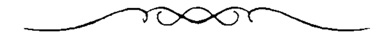
тые полы. Я обрадовалась Любе и обняла ее, но она ответила довольно холодно на мое приветствие.

Мы с мужем выразили соболезнование по поводу кончины Остапа.

- Так уж, видно, у него на роду написано, - проговорила она хладнокровно. - Квартирант его расстроил, а он на пол - бах! - И Богу душу отдал. Теперь я - *лендлорд*.

Люба настолько изменилась, что в ней трудно было узнать прежнюю скромную, безответную женщину: она заметно потолстела, говорила властным тоном, смотрела прямо в глаза своему собеседнику, а в ее движениях чувствовалась самоуверенность.

- Забыла вам сказать по телефону: у меня такое правило, - указала она на новые "коммандаменты", - за месяц *секьюрити* - сто двадцать долларов. Цены пошли вверх, все подорожало...



СОДЕРЖАНИЕ